

ГЕННАДИЙ
ИСАКОВ

ПУТЬ К ВЕРШИНАМ



ГЕННАДИЙ ИСАКОВ ПУТЬ К ВЕРШИНАМ



Рассказы



АЛМА-АТА
«ЖАЛЫН»
1988

84Р7—44

И 85

Рецензент

кандидат филологических наук *В. Г. Бобылев*

И $\frac{4803010102-96}{408(05)88}$ 124—88

ISBN 5—610—00124—2

© Издательство «Жалын», 1988.

НА ГЛАВНОМ ХОДУ

1

Блохин перевелся в маневровую колонну принципиально, показав характер.

Накануне его на три месяца сняли с должности машиниста за то, что он отказался в Тургутуе от обратного рейса с ходу, то есть без отдыха в пункте оборота. Норма рабочего времени у него была на исходе, усталому в путь отправиться — это же напрашиваться на крушение! Сначала вдолбят тебе, что безопасность движения прежде всего, а потом... Конечно, случись неладное, легко оправдался бы: выполнял приказ — и баста. Дежурный по депо долго убеждал его, суется, звякая пуговицами на кителе. Но Блохин стоял на своем.

Наказание он считал обидным. Не разобрались в сути дела. И с классностью не посчитались, на старости лет с пацанами сравнивали! Тряся «Правилами техэксплуатации», развернутыми на нужной странице, стал доказывать, что был прав, что дисциплина послушности не родня. Я сопровождал его к начальнику, в партком, в райпрофсоюз, рискуя заслужить с Блохиным репутацию молодого, да раннего скандалиста.

Его согласились простить, все же были у него заслуги, — но он такой формулировке оскорбленно воспротивился: «Я не милостыню вымаливаю!» Наконец в маши-

нистах его восстановили. «Снимали» принародно и громогласно, в назидание будущим нарушителям порядка, оправдали ж втихомолку, приказа об этом не вывесили. А по депо разговор шел всякий, шепотком да со смешком.

Но была у него еще одна причина для перевода. Ему понадобилось свободное время, и непременно днем. На маневрах после ночного дежурства двое суток твердо твои. Без неожиданных и бессистемных вызовов, сам себе хозяин, а не дядя, который суетится, но «Правила» не соблюдает.

— Понял,— вздыхает он в рацию, слыша очередное распоряжение: «Поддай еще чуток вперед, будем брать два четырехосных, отведем на эlevator, потом начнем вытягивать нечетный состав...»

Словно челнок, снует по путям старенький прямоугольный, как спичечный коробок, ТЭМ-2. Обтекаемость ему ни к чему, не для гонок предназначен. А все ж похож он на птицу в клетке, бьющуюся в жестко ограниченном пространстве. Отчетливое, свербящее сравнение это вызвал у Блохина поезд, прогремевший мимо, лихо посветивший красным на хвосте. Завидки берут.

Неожиданный шаг, бесспорно, несколько ронял авторитет Блохина. Вроде бы слабосилен стал и к поездной работе допуск потерял. Столько лет тяжеловесы водил, а тут — «два четырехосных», на воловьей скорости... Да ведь сам решил, и нечего теперь стонать.

Ничего, уговаривал он себя, зато в библиотеке спокойно посидишь, с инженерами встретишься, растолкуешь им очередную задумку и уж нигде не расшибешь нос о собственное невежество. В цехах чаще бываешь, по-ревизорски оценивая их оснащение. В дизель-агрегатном вчера поразился: слесарь, чертыхаясь, руками вставляет холодильные секции в моечную машину. Одну за другой, шесть штук. Сделать чалку, зацепил сразу

все шесть, как гроздь бананов! А то автоматика — кнопку нажал, спина мокрая...

— Но камера вертикальная, не подступишься к ней с чалкой,— засомневался мастер, настороженно перехватывая пытливый взор Блохина.

— Так надо ее на бок положить!

— Нет для тебя безвыходных положений,—подозрительно ласково сказал мастер.— Дай тебе волю, ты б все переставил и переделал, мироздание усовершенствовал.— И засмеялся, уже не сдерживаясь. Представил Блохина в миг творения им земель и вод по улучшенному образцу.

Тот самолюбиво насупился:

— Будто ты сам ничего у себя не переладил.

— А чего здесь?—безмятежно откликнулся мастер.— Ну, цилиндры втулки стали восстанавливать напылением. Вторую жизнь им даем, так? Со склада-то их по месяцу ждать приходится. Ну, шестерни начали гидравликой спрессовывать, а не кувалдой...

Теперь засмеялся Блохин:

— Сказал бы сразу, что мне здесь делать нечего!

Они хохотали, стоя посреди цеха. И не стала, прося дорогу, сигналить им карщица, а опасливо объехала их...

Я уже наизусть знаю его любимые истории. Про то, как Наполеон отверг проект первого парохода, отчего, может быть, проиграл морскую битву с Англией, а о первых поездах говорили, что на 30-километровой скорости пассажиры начнут задыхаться. Про известного всем Зингера, который вовсе не был изобретателем швейной машинки, просто придал ей классическую завершенность, но не мог сформулировать, чем же она отличается от других. Потом догадался указать, что применил иглу с ушком на другом кончике — и сразу получил патент.

Уход Блохина в маневровую колонну совпал с хлопотными днями комиссионного осмотра тепловозов и

не привлёк особого внимания. Деповские остряки всего два или три раза поздравили его с тем, что он избавился от сравнений с Казачком.

2

Месяц назад я окончил техникум. Дипломную работу, конечно же, отставлял до последнего момента. Причин тому находилось множество, из-за них я на последнем курсе едва вытягивал на стипендию. Кто помнит себя восемнадцатилетним, тот поймет. Но вот уже тянуть дальше стало невозможно. Собравшись с духом, я заперся с чертежной доской и банкой растворимого кофе в красном уголке общежития. Словно в подполье, спасаясь от надвигающегося провала.

Лист миллиметровки испещрен косыми линиями графика. 19-й скорый придет на конечную станцию в 02 часа 09 минут. Через полтора часа отсюда отправляется 20-й, ходу ему 7.15... Поскорее отвязаться бы от них! Сплошная проформа ведь, и без того все знаем прекрасно (особенно то, как опаздывают поезда). Газогенераторное отделение на плане спроектированного депо я не вынес, как полагалось, за пределы главного здания. Но исправлять ошибку некогда. К счастью, на защите на это никто не обратил внимания.

Сквозь деревья, как на проявляемом фотоотпечатке, проступали контуры улицы в бледной синеве. Вместе с промокшим Антоном в комнату ворвалась утренняя свежесть.

— Ты всю ночь здесь?

— Твоему труду, между прочим, тоже через неделю срок.

— Успеется. Мы с Нелькой в саду были.. Как ты думаешь, что такое любовь?

Эпохальное событие: Антон задумчив! Спросил бы он о чем-нибудь полегче. Я вообще ничего не знаю,

не помню, забыл. И лезть ко мне с такими проблемами не следует.

Мы дружили втроем и в том саду гуляли вместе, наперебой выводя Нельку на дощатый барабан дискотеки. Мне казалось, она смотрела на меня заинтересованнее. Антон больше похвалялся силой и неустрашимостью, поигрывая клешневатыми лапищами. А потом он стал оттеснять меня, с присущей ему деликатностью, не скрывая торжества. Я не согласился, но вскоре она неожиданно непоправимо легко сказала:

— Ты хороший, но... Не сердись, прости меня.

И думать уже стало не о чем.

— Если она мне изменит, я ее мотоциклом задавлю,— пообещал Антон однажды как бы между прочим. Очень характерная для него шуточка.

Удивительная эта Нелька. В одно время с нами получит диплом с отличием в педучилище. Ученики будут звать ее Нелли Никифоровной. Рассказывает, как недавно урок проводила. Понравилась ребятишкам, они окружили ее: «А вы еще придете к нам?..» Она кого угодно околдует, голову закружит. А ведь с первого взгляда ничего особенного. Тихая, рыженькая. Сидит себе спокойно, а ты вдруг чувствуешь себя обязанным совершить что-то великое, перевернуть мир.

— Она меня спрашивает, когда уезжаю. Я, мол, с тобой. Антон опустил голову, шумно отхлебнул кофе.— Дура, пугаю ее: там, кроме елок, ничего не увидишь, медведи по улицам ходят и рычат на прохожих. Не нужна ты мне, говорю... Не придет больше — так, значит, все правильно.

Он получил назначение на Забайкальскую дорогу и уже отправил туда багажом мотоцикл. Я попросился на свою, поближе к дому, хотя раньше подразумевалось без обсуждения, что мы едем вместе.

Четыре года постигали тепловозные науки, пора за дело. Серебряные крылышки на форменные пиджаки

мы себе уже нацепили, хорошенько надравив их специальной пастой. Уже смазывают колеса составам, которые провезут нас под огромной дугой, вроде триумфальной арки,— ее образует над путями дым из депок котельной.

И грянул отъезд. Душно пахло теплой нефтью от шпал. Вереницу тележек с почтовыми посылками тащил по перрону колесный тракторишко, что представляло пародию на поезд. Напоследок Антон хлопнул меня по плечу так, что на нас стали оглядываться.

Шагая осторожно, как по неокрепшему льду, к нам шла Нелька. Я спохватился, что не набрали лимонада в дорогу, и двинулся в буфет.

Они взялись за руки. Губы ее шевелились. Мне показалось, что она шепнула:

— Любишь? Очень, ведь правда? Очень-преочень?

Она и мне улыбнулась, по-хозяйски подхватив сетку с бутылками.

— Ты нам пиши!

Я отмолчался. Заканчивался день, над городом полыхал по-летнему пыльный закат. А что душа горит — этого никому видеть не нужно.

Что писали Некрасов и Пушкин про те места, про глубину сибирских руд? Если бы Нелька не была способна ринуться в глухую даль, я бы не тянулся к ней. Хотя верных декабристских жен везли в розвальнях или они шли пешком, проделать их путь в купе гораздо легче.

В поезд Антон, разумеется, молодежки вскочил на ходу.

Меня никто не провожал, да и уезжал я не в столь уж далекие края. Прежде чем кануть в хаос и безвременье сна, долго, бесцельно всматривался в черный провал окна. Куда я? Почему несет меня именно в эту, а не другую сторону, что означает мельтешенье огней во тьме? Что есть судьба? Что сбудется?

После дублерских испытаний меня определили на парником к Блохину.

3

Тепловоз неторопливо пересчитал стыки и замер у контрольного поста. Точно человек присел по обычаю перед дальней дорогой. И в самом деле — есть в этой машине что-то живое, одухотворенное.

Пока Блохин делает отметку в маршрутном листе, протираю ходовую часть.

— Заповедь свою усвоил? Машина любит чистоту и ласку,— сказал машинист. И я тру, пока не дают от правку.

Качнуло и проскрежетало на выходных стрелках. Изгибаясь, поезд выбрался на простор перегона и прибавил ход. Куцый луч прожектора упирается в темноту, рассекает ее кинжально, помогая прорываться сквозь ее антрацитовую густоту. Наискосок сползают по лобовому стеклу дождевые капли. Немного воображения — и вокруг уже не земная твердь, а морская зыбь, и мы держим курс не на Тургутуй, а в неведомое...

Вот и рассвет наступил. Рассеялись рваные облака. Издалека видно, на разъезде впереди взлетает сизый дымок от запускаемого дизеля. Это встречный пригородный, забавный коротышка из четырех вагонов. Он ждет, когда его пропустят с бокового ответвления магистрали на ее главный ход.

Первая моя поездка... Вызубрены ПТЭ и другие руководящие инструкции. Устройство механической части, электрическую схему тепловоза — ночью разбуди, расскажу без запинки, еще не протерев глаза. При каких обстоятельствах в дневное время применяются ночные сигналы, как отправить поезд или ввести его на станцию при погасшем светофоре, и многое иное, что может не

понадобиться никогда, а может — в любой момент сегодня или завтра.

Всякий груз потом достанется: полувагонник и налив, сплотки холодных паровозов, и путеизмеритель, и снегоочиститель, а то такой разношерстный составчик, что Блохин присвистнет: «Бронепоезд батьки Махно!..» На этот раз за нами сельскохозяйственная техника. Еду самостоятельно помощником, «помогалой», оглядываю все двести с лишним осей не просто со вниманием, а прямо-таки с возвышенной любовью:

— Идем нормально!

Хочется сказать: идем замечательно, превосходно! Однако по регламенту положено докладывать проще, без лирических отступлений. И когда в знак приветствия машешь встречному, это называется: «сигнализировать резким поднятием руки», показывая, что не заснул; и дома мы не просто отдыхаем, а «готовим себя к поездке». Все нормально, транспорт есть транспорт, знал, куда шел. У него свои законы, четкие и целесообразные, выверенные мудростью многолетнего опыта. Неугомонно его движение, и народ на нем любопытный.

— Чего ты растанцевался? — хмурится Блохин. Он почему-то считает, что я отношусь к технике с рабочим умилением, готов на колени перед ней вставать. Реального повода к тому я не давал, похоже, такая позиция удобна ему — чтобы легче было высказывать сокровенные мысли.

— Думаешь, она для умных создается? Она сама должна быть умная, чтобы любой смертный управился. Почему ты бегаешь масло мерить, ноги бьешь и время тратишь с письмом? Поставлю датчик, тумблером щелкну, все сам увижу. Элементарно.

Он такой, сует нос в любую дырку, всегда там, где его не просят. А дома у него мебель держится на честном слове и на одном гвозде. Там Казачка нет, гнаться не за кем.

В чудотворцы он записался смолоду. Полжизни потратил, отпуска убивая на одно безнадежное с виду дело. Усовершенствовал воздухораспределитель тормоза Матросова! Правда, поздновато: распределителям этим успели отставку дать, устарели они. Четыре года только с макетами возился, может, потому, что в соавторы никого не взял. Но главное — доказал, что улучшение технических святынь достижимо. Нет ничего на свете, что не поддавалось бы рационализации!

— А у тебя голова для чего, шапку носить?— въедливо спрашивает меня, едва мы проехали неделю.— Зачем ты на эту работу пришел? Чтоб сел — поехал, приехал — слез?

Я действительно поначалу, присматриваясь к обстановке, не хотел ничем выделяться. Дорога-то железная, а закон трамвайный: высунешься — получишь травму. Ответил ему в том духе, что, мол, интересно на главном ходу, человеком себя чувствуешь. И отцовский «династический» пример сказался, я чугунке не чужой.

Блохин хмыкнул:

— Главный, он, конечно, по праву так называется. А если изнутри посмотреть? Смекайте, граждане, главный ход жизни в виду имею.

Продолжать беседу некогда, я ухожу во вторую секцию, скользя по замазученной рифленке. Что тут еще ответить? Разве расскажешь о том, что значат для тебя привычные с детства тепловозные гудки, отчетливее слышные ночью, когда подолгу не гаснет смешанный с гуденьем звон пролетевшего скорого, а в отдалении рождается и нарастает новый. Колеса целуются со стыками так, словно огромный молот бьет по рельсам. Куется нечто неоглядное, нужное всем, и душа тянется встать вровень тому...

Если бы Блохин не пытался влиять на меня так откровенно, я бы скорее прислушался к нему. Тоже подался бы в изобретатели. Для начала предложил бы

сваливать лес автогеном — при условии, что ученые додумаются обезопасить огонь. Или сконструировал безбензиновый автомобиль-ромбобиль. Каждую неделю брал бы по пачке бланков для заявок, и столь же регулярно мне бы возвращали их.

— Это, молодой человек, было известно еще в 1907 году.

4

Рельсы неуклонно придерживаются берега реки, отороной обходя курчавые сопки. Вода выбрала оптимальный, отшлифованный веками вариант трассы, ее не перемудрить.

Нашим рейсам до океанских далековато, верст полтора-ста каждое тяговое плечо. Затверженный маршрут обрывает сны стуком вызывальщицы в окно: собирайся! А ты, как пионер, всегда готов. Минута — и за порог. Жаль, что не удастся купить приличную кожаную «шарманку». Она не только удобнее сумки, она — отличительный знак профессии.

— Прогулял небось до петухов? — взыскательно вопрошает Блохин. — Нельзя. Пусть подружка учитывает нашу специфику. Ты не шалтай-болтай, а советский железнодорожник.

В том, что касается работы, он строг, слова находит значительные, даже официальные. А подружка... Старое не забылось, новое не пришло.

Стучат колеса, дребезжит лист обшивки, посвистывает воздуходувка. Эти звуки и даже гул дизеля скоро становятся привычными и как бы неслышимыми, вроде тиканья часов. Лишь сбой в их потоке, перемена ритма настораживают. Нет, все в порядке, это начинается Каргасокский перевал.

На него ведет исключительно извилистая колея. Поезд, будто поднимаясь по винтовой лестнице, оказывается порой сразу в трех кривулинах. Вот-вот завяжется в узел. Тут тебе угон, и боковой износ, и выкрашивание рельсов, если смотреть с путевой точки зрения. На обвальных участках постоянно срезают и укрепляют скалу — с нее валятся камни после каждого дождя. С Каргасока поезда спускаются, намертво зажав тормоза, сыплющие искрами из-под колес и потому похожие на огнедышащих драконов. Красивое зрелище!

Мне все это хорошо и доподлинно известно. Этот околоток не зря называют самым трудным на всей дороге. Забот не по горло — по самые уши. Уму непостижимо, как на нем добиваются нулевой оценки состояния пути (она не как в школе, а тем лучше, чем ниже). Двенадцать лет назад отец принял этот перегон с двумя сотнями баллов. Теперь-то все выверено, в аккурате и в ажуре. У пассажиров чай из стаканов не расплещется, катишь как по бархату...

Путейцы толпились у моста через безымянный ручей. Сильна и коварна струя, неумоимо рвущаяся из нутра земли. Наледи недавно вытолкнули и свалили, порвав провода, несколько столбов связи. Когда перемерзает сток по отводному лотку, начинается аврал: не дай бог зальет, размочит путь, такую кашу не сразу расхлебаешь. Сколько уж раз поднимали отца ночью, и он уходил, шурша брезентовым плащом.

Сегодня его бригада устраивает новую нагорную канаву, на случай ливней. Сам он стоял на обочине, пережидая наш поезд, и не оглянулся. Не подсказало ему сердце, кто грохочет в его владениях. Когда я проводил его взглядом, пока желтые жилеты путейцев не загородила очередная скала, Блохин закричал:

— Не отвлекайся, едрены палки, ты на посту.

Он непрерывно давил на педаль, не жалея песка для

лучшего сцепления колес с рельсами. Надсадно, готовый задохнуться, ревел дизель... Кажется, проехали.

Хорошая жизнь — скорость за восемьдесят! Распугали ворон со столбов, они суматошно кидаются вслед, но не могут угнаться за нами. Летим быстрее, чем крылатые. Заяц, еще по-зимнему белый, рванул в кусты, сгинув, растворившись в них.

Этак, пожалуй, и пробег, и тонна-километры, и в топливе экономия наберутся. Диспетчеры могут работать, когда захотят! Иной раз они хуже всякого врага, из-за них больше стоишь, чем двигаешься. Может, сегодня дадут «зеленую улицу» до Тургутуя?

Но вдруг — сглазил, право, сглазил! — замигал желтый.

Прием на боковой путь с остановкой, хотя участок впереди свободен. По прямому пути открыли зеленый. И — слитая масса грома и стали идет на обгон, только пыль веревочкой завивается...

— Опять Казачку подфартило. Еще срочнее нашего, порожняк под руду, — вздыхает Блохин, сводя брови в узел.

Чтоб ему, этому Казачку!.. Он подхватывает тяжеловесы чаще других и все проводит минута в минуту, с лихой небрежностью. Берут его в обратный рейс с ходу — он умудряется в режим времени укладываться. Ты загорай, а он ту-ту! Везучий, ничего не скажешь. Заядлый анекдотчик, но не только юмором одарен. На технических занятиях шпарит как по писаному, вызванный после того, как двое-трое механиков почесали затылки и развели руками, поставленные в тупик изощренными вопросами инструктора.

У него наставник был хороший, Макаров, «профессор тяговых наук», как его почтительно называли. Дело знал, машину содержал как игрушечку. «Да у тебя паровоз особый, экономный, и вообще», — говорили ему.

Он демонстративно пересел на другой, похуже. И опять отличается, торжествует: «От человека зависит!» И щелкает крышечкой именных часов, полученных от министра, как бы ставя точку.

Однажды застал Казачка страшный ливень в пути. Отводы захлебнулись, вода пошла поверх рельсов. Он успел сбавить ход. А тут со склона сопки оборвался, пополз пласт камней и песка. Стукнуло только в тележку первого вагона, без большого вреда, а на скорости наверняка б перевернулся... Единственное, считай, опоздание допустил против графика, да и то похвалили за бдительность, за реакцию, уберегшую от беды. Или у чужого поезда заметит дымящую буксу, там раскаленная шейка оси уже на грани отвала,— опять благодарность. Точно под парусом несется с попутным ветерком.

Блохин, я вижу, вдвое больше сил кладет, старается, собственные карты вождения составил, рассчитанные по метрам и секундам и с учетом погоды, примерно по сорока параметрам. Все на заметку взял, как заправский бухгалтер. Но результаты у него вечно чуть-чуть пониже, хоть разорвись. Вот снова диспетчер ножку подставил.

Держат нас бессовестно долго. Пользуясь передышкой, отбежал бы по-жеребачьи в сопки, где пробиваются зеленые ростки, которым скоро быть цветами, окунулся бы в картавый гомон грачиных березняков. Настроение такое — все б обнял, всему рад.

— Заповедь не забыл?— в сердцах говорит Блохин. Учит почище вытирать между клапанными коробками, жалюзи включать вовремя, ни на градус не перегревая воду и масло, муфту обязательно проверять на каждом перегоне, причем ночью выходить для осмотра только с лампой-переноской.

Я не нуждаюсь в ликбезе, сам ученый, а он распаляется, остановиться не может. Встал Казачок поперек

его трудовой биографии, дрожит в нем струна задетого самолюбия, издавая скрежещущий звук. И я снова беру лохмотья «концов». К ходовой части не придерется самый дотошный сменщик, но я тру и тру тепловоз, словно это полированный сервант, вот-вот начну отражаться в нем.

Работа наша считается интеллигентной, многие думают, что мы сидим себе в костюмах и при галстуках (почти что в белых перчатках), на сигналы посматриваем и кнопками пощелкиваем. А с нас по семь потов сходит крупными каплями. Мою спецовку отстирать ни одна прачечная не возьмется. Да и Блохин бывает хорош, «понянчив» объемистую масленку.

Мы интеллигентно клюем носом, свирепо умываемся, нарочно широко плеща на себя из медного чайника, чтобы отогнать предательскую дремоту. Диспетчеру, видно, платят с отработанного времени, остальное ему до лампочки.

Загорелся зеленый, охотно фыркнул дизель, тронулись пристывшие к рельсам платформы. Рейс продолжается, еще не все потеряно.

5

Бате попалась на глаза газета, где воспевалась польза бега для здоровья. Повертел ее и бросил.

— Меня агитировать не надо! Я тот бег по производственной неизбежности ежедневно употребляю!

Ходок он отменный, профессия такая. Участок свой тысячу раз вымерил шагами, прощупывая каждый стык и крепежные детали. Потому, наверно, и выглядит моложе своих пятидесяти. С одного удара по самую голову вгоняет костыль в шпалу. Постоянно на свежем воздухе, это не соляровкой дышать.

Он мечтал стать летчиком, но был единственным мужиком в семье — у меня шесть тетушек, — и вышло ему остаться при доме. Помню, как младшей тетушке купили пальто с пушистым воротником. Уцененное: мыши у него под рукавом дыру прогрызли. А она была счастлива и не обращала внимания на то, что оно мышами недоеденное.

Мальчишкой я бывал у отца на Каргасоке. Однажды зимой, оставив меня дневалить в тепляке, все ушли на подбивку шпал. Из лесу вдруг показался сохатый, замер, посмотрел на меня пристально, качая коронованной рогам головой, как бы спрашивая, кто я такой и кто здесь хозяин. Метнулось — и потерялось между сопками эхо от выстрельного треска в березах. Это лопался лед вокруг кипящих даже на морозе ключей. Сохатого как ветром сдуло.

Шалишь, залетный, вот они, хозяева настоящие, идут в своих ватных скафандрах. Снова обеспечили поездам желанные нули. Швыряют шапки на лавку, ба-систо возмущаются тем, что технический прогресс не одарил их никакими инструментами, кроме ломометра и кувалдометра. И тянутся задубелыми руками за жестяными кружками, отогреваясь кипятком.

Клятое место этот околоток. Двенадцать лет назад на восьмом километре произошло крушение. Вагоны раскидало метров на полста по сторонам, безумная сила смяла, исковеркала металл: путейцы недоглядели за температурными напряжениями в рельсах. Дорожного мастера отдали под суд, а отца поставили взамен его. Позже почти на тех же самых пикетах ушло под откос еще больше половины состава: задремавшая локомотивная бригада превысила скорость на уклоне, и в кривой с платформы выхлестнулся плохо закрепленный груз. С путейцев за это не спрашивали.

Смешно, как обрадовался отец моему возвращению с учебы. Гордился моим дипломом, так и сяк вертел его,

почти нюхал. Надев белую рубашку и повязав галстук, самолично отнес мое направление в депо, ожидая распросов и поздравлений. Потом успокоился. Нынешняя зима выдалась снежная, перевальные выемки заваливало доверху, и поезда стояли, ожидая расчистки. Весна пришла с избыточной водой, но удалось обойтись без происшествий. Для того пришлось, разумеется, побегать.

С Блохиным отец знаком и, в общем, одобряет его кудреватый норов. Тот копался в шпалоподбивочной машинке, наглядевшись, как маются с ней путейцы, но, похоже, ничего у него не получилось. По-прежнему колятся шпэпэмки, припадочно стуча стальными лапами о щебень. А при рихтовке колеи рельсы подвигают вручную, дружно сгибаясь над ними. За год такой работы нужно автоматически давать по ордену. Я пробовал забивать костыль. Лупил, лупил, раз пять промахнулся, вышло криво-косо. Отец костыль выдрал, ахнул-молотком — шляпка влипла в шпалу...

На летний сезон дали большой план по выборке «тещиного языка» — угловатой скалы, которая козырьком нависает над колеей. Приедут механизаторы. Работы они ведут давно, если посчитать закрытые по ней наряды, «язык» уже должен был отодвинуться от пути на расстояние пушечного выстрела. А он все ни с места.

— Кто б этими хитрованами занялся, а? — недоуменно печалится отец, будто ему собственных забот не хватает.

Иногда он вроде бы оправдывается передо мной за свою простецкую судьбу, хотя напрямую разговор об этом не заводит. Летал бы не хуже других. Но что-то же держит его на Каргасоке, обихоженном, как собственный огород! Может быть, перевал дает ему ощущение не доставшейся ему высоты?

За спинкой сиденья у Блохина торчал рулон бумаги. Прямо в кабине он, что ли, черчением занимается? Нет, оказывается, удалось ватман раздобыть. Он придумал, как сбавлять обороты двигателя на холостом ходу, удовлетворяя машину минимальными порциями горючего во время ее бесполезного кручения.

Свободное время пошло ему на пользу. Хотя свободное — это если в прямом смысле брать. Он ведь как тот алкоголик: «Эх, взять бы мне да бросить пить, я б столько водки смог купить!..» Наконец-то — давно собиравшись — повнимательнее рассмотрел рычажный привод тормозов. И, естественно, остался недоволен им. Колодки должны изнашиваться ровнее и служить дольше. А то полторы смены — и стой, заменяй, до дыр истончились с одного конца. Конструктивные изменения в локомотивы вносятся лишь с благословения самых высоких инстанций. Так, значит, придется добратся до министерства. Гореть синим пламенем еще одному его отпуску.

Мне, казалось, все равно, с кем ездить. Но весенняя оглушенность проходила. А жилось как-то механически — вызов, рейс, отдых, опять рейс... Ты никого не трогаешь, тебя никто не трогает. Вроде бы так и надо: с командирами не спорь, за регламент не высовывайся. В заводную куклу не долго превратиться.

Час назад я — не знаю, что мне стукнуло в голову, — побывал в деповском БРИЗе, с горделивым смущением поделился идеями. На дороге появились и все чаще встречаются восьмиосные цистерны. На них поставлено по два воздухораспределителя, а так ли уж невозможно обойтись одним?.. А на местном механическом заводе грузят свою продукцию — речные катера — по восемь штук в полувагоне. Можно по двенадцать, причем на платформах, они не такие дефицитные. Поставить елочкой, и станешь воздуха меньше возить! .

Не нужно быть Эдисоном, чтобы додуматься до этого. Но говорил я, неожиданно для самого себя, возвышенным голосом, будто бы читал великую поэму. Сидевшая напротив меня полная женщина, грызя яблоко и морщась от его кислоты, пообещала зарегистрировать мои предложения, когда принесу готовый материал.

Такой вот получился творческий дебют.

Я пошел к Блохину.

Его кургузенькая «ТЭМка» сиротливо стояла в одном из станционных тупиков, ожидая составителя, ушедшего на подъездной путь. Он терзал своего помощника — слава богу, теперь уже не меня! Собирается обойтись без него, работать «в одно лицо».

— Не, не потянешь, — без размышлений заявил помощник, с достоинством приглаживая белобрысый чуб. — Мне слева тоже кое-что видно, и вообще.

У него есть свидетельство машиниста. Экзамен сдал, а за контроллер сесть не пожелал: заработок ненамного больше, зато ответственности — вдвое. Ему видно по вагонам, сколько метров осталось надвигать состав в кривых участках. За сигналами следит и за бесшабашным народом, что шныряет по путям, норовя угодить под колеса. Машинистов, понятно, в депо не хватает, помощников с правами управления куда как выгодно перевести за правое крыло. Только испокон веку по двое ездили, наверное, неспроста.

— Закавыку нашел! Поставлю слева обзорное зеркало, все сам увижу, — бурчит Блохин. — Как хорошая мадам, буду в него поглядывать.

— Помаду и духи припаси, — поддразнивает его помощник, делая губы сердечком, огорченно затихает.

А что, Блохин припасет все необходимое — и добьет двустороннего обзора. Пока тепловозам не устроили дистанционное управление, сгодится и это.

Воздухораспределителями цистерн он, оказывается, уже интересовался. Не достигается нужное быстродей-

ствие тормозов. Нет-нет, лучше и не браться — проверено, шансов нет. Схему размещения катеров одобрил и немедленно выделил мне драгоценный лист ватмана, кажется не очень дрогнувшей рукой.

Ну, а идея с распределителями — неужели она так и останется неспетой песней? Он хоть какую-то попытку сделал, а мне, выходит, сразу сдавайся?

Блохин оторопело посмотрел на меня, осуждающе крутанул головой. И вдруг протянул мне весь рулон ватмана:

— Бери, я себе еще достану.

Настойчиво приглашал меня к себе в гости, его дочки заварят нам хорошего чайку. Но я отказался. Дочки у него скучные, по три платья в день меняют, а разговоры сплошь из «хи-хи-хи». Отец сам зовет их свистульками. Надо бы написать Антону: как он там? Не заедают свирепые забайкальские хищники?

Давно я не видел Блохина таким довольным. Он жмурится блаженно, точно его слепит блеск солнца в тысячах зеркал на станциях, отчего день становится светлее и праздничнее и даль видна без конца.

Будет виться стальная нить, накрепко сшивая непокорный простор. Сопки очень похожи на волны. Ветер ударит в борта, бессильный сломать назначенный курс. И перевалы будут прекрасны тем, что круты. Он только начал открываться передо мной, мир, в котором еще столько нужно сделать!

7

Казачка отставили, по его просьбе, от поездки. Он даже с планерки ушел, где начальник отделения дороги, редко бывающий у нас, докладывал про общесетевое совещание. Надвигаются перемены: придут более мощные, трехсекционные локомотивы, более длинными

станут тяговые плечи. Обещают вернуться к старой системе закрепленной езды — обезличка при обслуживании тепловозов себя не оправдала, весь приписной парк довели до крайней запущенности.

— Перескажете потом, ребята,—извинился Казачок, нетерпеливо топчась у выхода. Еще вчера укатывал всех очередной серией анекдотов — он способен по часу травить их на любую, какую ни назови, тему,— а сегодня сам не свой. У его жены трудные роды.

Неужели удача, столь долго улыбавшаяся, посмеется над человеком?

— Я так и думал, везунчик, он и есть везунчик,— сказал Блохин, поздравляя Казачка с новорожденными сыновьями-двойняшками.

СВОЯ НОРМА

1

В соседнем цехе включили компрессор для обдувки тепловоза, поставленного на ремонт. Вырываясь из шлангов этой адской машины, воздух свистит, с подвывом набирает высокие тона. Прямо тебе трудовая симфония. Среди металлических стяжек перекрытий наверху всполошенно заметались голуби. И еще больше стала похожа на голубятню конторка мастера — ради экономии места она поднята под потолок, в нее ведут крутые узкие ступени.

Пронзительным верещаньем предупредил о своем приближении мостовой кран. Школьники, пришедшие в депо на экскурсию — чей-то подшефный класс, — оглушенно прижались к стене.

Эх и зелень, всего интереснее им, балбесам, автомат с бесплатной газированной водой. Жмут кнопку, наливаются выше ушей, каждого можно вместо цистерны везти на пожар! Петряй подошел, раздвинул их, они послушно посторонились:

— Пейте, дядя, вы ведь на работе...

На руки его посмотрели, с неоттертой въедливой грязью, на торчащие из кармана пассатижи. Ничегошеньки тут нет веселого, а Петряй неудержимо расцветает, сдвигает на затылок берет. То-то же, пацаны, поняли, с кем имеете дело!

И он тоже совсем недавно был таким лопоухим. Вместе со старшими, а не на час раньше, стал уходить со смены нынешней весной. Восемнадцатилетие незримо обозначило нужную душе солидную ступеньку. Осталось непутевое пацанство позади...

Предприятий крупнее депо в их поселке нет. В каждой семье кто-нибудь служит на железной дороге, а то и по две-три форменки рядом висят в квартире. Везде, даже на клубных афишах, указывается московское время, по которому живет весь транспорт.

Устраиваясь в электроцех, Петряй многое — какие уж тут секреты, — знал наперед. Но все-таки не сразу приновился к взрослым заботам. Крутоватый произошел поворот. О школе он не жалел, чего там попусту время терять. Все равно уроки не праздновал, иначе бы друзья его беспощадно осмеяли. Был такой же отчаянный, как все, ни одна стычка, окропляемая кровью из носов, без него не обходилась. Склепанные им самопалы расходились по рукам нарасхват.

А потом начал охладевать к забавам. Надоело разбираться с фраеристыми ребятами из краснокирпичных «комсоставских» домов, развлекать бойких, шибко бойких подруг... Кличку «Слон» он оправдывал ранней мужицкой статью, хотя склонность к флегматизму тщательно скрывал.

За себя постоять, отчудить чего-нибудь — это Петряй мог. Но всему же есть предел! Однажды его пригласили на кладбище, дуrolомно собравшись вечером валять кресты. Он отказался от этого паскудства, даже не попытавшись, ради приличий, найти благовидную причину. Компания ему не простила, вскоре вообще поставила на нем крест...

Постепенно, со скрипом, притерся он к большому и безостановочному деповскому механизму. Свыкся с ежеутренним топотком по шербатому асфальту сто лет не отремонтированного тротуара, с гулкостью громкоговоря-

щей связи на станции. Дело осваивал быстро, а теперь не без нахальства нацелился получить четвертый разряд.

Еще ничего не умея, он знал, что обязательно станет мастером экстра-класса! Штурмует теорию, как обезумевший отличник. С практикой-то вопрос решенный, к Митрофану Даниловичу и к Бянкину, словно в академию, посылают, за высшими слесарными навыками. Они бодро взялись за его воспитание, решив осчастливить его отеческим вниманием. Но любые их поучения он встречал прохладным наглым взором. Не надо, дедушки, морали. Лишь в том, что касается работы, у них обоих все бесспорно. Вконец бестолковым надо быть, чтобы опыт у стариков не позаимствовать себе на пользу.

Отлиховал Петряй, как отболел. Навострился разбираться в марках металла и проводов, накрепко впитал переставшие быть отвлеченными понятия о напряжении и силе тока. Ловко притирает клапаны вентилей, меняет манжеты контакторов, перематывает электрические якоря, паяет, пилит и сооружает из всякого барахла приличные запчасти. Поначалу с него взыскивали нестрога, с подчеркнутым великодушием стерпели, что перегрузил и сжег проверочный генератор. Теперь он уже поблажек себе сам не допускает, как бы ни было тяжело, не сопливый.

Даже дома работа его не отпускает, в снах одолевают регуляторы напряжения. Когда они отлажены плохо, тепловоз не держит нагрузку, начинает двигаться скачками, аж танцует, что стальному коню совсем некстати. Петряй отдает заказчикам одну за другой эти коробки с ксилофонными рядами контактов, а их несут и несут, как будто из дырявого мешка сыплут. И чей-то голос надоедливо зудит:

— Давай, поворачивайся, поезда держишь!

Особенно в почете у него пайка, он с сожалением отвлекается от нее на другие срочные задания. Интерес-

но, можно ли достичь, чтобы даже фольговые листочки соединять, не прожигая? Бянкин категорически шепелявит, что эти фокусы ни к чему. Но — зато мастерство покажешь убедительно. Дурнее себя ищите на той стороне!

Впрочем, вся его мастеровитость и впрямь способна оказаться искусством для искусства. Перспективы неважные, просто закат. В штатном расписании цеха всего две единицы с четвертым разрядом. Вакансий нет, и до тех пор пока кто-нибудь не освободит место, рост ему не светит.

2

Цех невелик и узок, похож на коридор. Грузный Бянкин едва протискивается между испытательным стендом и шкафом для приготовленных к выдаче деталей. Впервые увидев поприще своих будущих трудовых подвигов, Петряй снисходительно засмеялся:

— Вот это современная индустрия!

Здесь постоянно стоит смолистый, лесной запах плавленной канифоли, точно за окном сосновый бор, а не грязноватый деповский двор. Идут невядалеке поезд за поездом, то на восток, то на запад, сотрясая здание и заставляя приостанавливать операции, которым по тонкости их и лишний вздох может помешать.

У ремонтных дел есть огромное преимущество перед поточным производством. Не будешь всю жизнь закручивать одну и ту же гайку, тут каждый день что-то новое. Тут без масла в голове пропадешь!

Бянкин щедро похваливает парня за усердие, не отрываясь от собственных занятий. Петряй так и учился у него — заглядывая ему через плечо, вроде бы подсматривая тайком. А дядя Митя взъездается, полагая, что одобрение прозвучало преждевременно, незаслуженно. Сам берется за Петряев инструмент.

— У тебя, Данилыч, своей нормы нет?— кротко замечает Бянкин.

— Не все ж беспокоятся о себе,— отвечает дядя Митя, принимая взъерошенный вид.

Бянкин хладнокровно отбрыкивается:

— Были б все как я, было б очень хорошо. Я свою службу знаю, минуты даром не потрачу.

И за каждую тугую гайку нещадно кроет конструкторов.

Вот ведь кадр, его самого еще воспитывать да воспитывать! Где такие люди проходят, там трава расти перестает. Хлебом его не корми, дай завести хитромудрый разговор про международную обстановку, про бесптолковость командиров, не умеющих организовать движение поездов.

— Слыхали, вчера на двухпутный разъезд под конец суток диспетчеры вытолкнули сразу четыре поезда? Устроили «пробку» на всю ночь, пока не разъехались...

Припоминает, сколько прежде машинисты паровозов надбавок получали: за старшинство, за переработки, само собой, и за договор — это когда люди подпись давали на определенный срок, что не уйдут из депо ни при каких обстоятельствах. У слесаря в квартире серо, а у машиниста ковры везде, только разве не на потолке. Пусть отошла эта несправедливость, все равно обидно!

— И еще скажу: курорты всем положены, а ездит больше начальство, перетрудившись штаны протирать да болтологией заниматься...

Ишь куда киданул! Но вот дядя Митя невелика шишка, а путевки ему дают, есть поддержка здоровью. Нынче только-только приехал с юга, сверкает облупленным носом. И на зарплату чего жаловаться: даже обтирщицы в золотых сережках стали ходить.

Но Бянкин прет как танк:

— Малой ты еще. Пошупай все своими руками, тогда выступи. Вон ты с кусочками пришел, столовая

скоро год как на ремонте. Почему? Кого об этом спросить? Другой пример: выполняю я норму на двести процентов — что за этим последует? Медаль? Дудочки вам, православные. Расценки убавят, прищепят хвост, чтоб не вертухался.

Насчет норм он прав. Вечно морока с ними. Приходят из техотдела уточнять их, а тепловоз выпускать надо срочно.

— Ради бога, завтра, — униженно просит мастер. А то ведь опять получится замедленное кино: возьмется экономически подкованный труженик за ключ, поднимет, потянет, ох, уронил, зайдет с другой стороны... Бянкин рвет и выбрасывает лишние наряды-заказы, чтоб за месяц выходило не больше ста двух процентов, которых достаточно для премии. Рвет ожесточенно, с наслаждением, будто мстя кому-то.

— То-то и оно, — веселится Бянкин оттого, что ему не мешают выглядеть правдолюбцем. — Мое тебе слово, которое жизненное. Пусть молоко поскорей обсыхает на целовальнике. Бывает, душу вывернешь, мало покажется — выгладишь ее, чтоб чище казалась, а опять мало...

Это словоблудие не вполне доходит до Петряя, и дядя Митя ворчит резче обычного:

— Вовсе ты, Бянкин, кислоглазый. Чем голову забиваешь молодому поколению?!

Забивает Петряеву голову другим. Надо, мол, от магнитного поля у электродвигателей отказаться. Тогда на их работу нагрузка не будет влиять, одна забота — с места стронуть, чтоб завертелось. Так ловко подводит к этой чуши — опровергнуть нечем. Сам хихикает, какие великие туры на колесах развел.

Он как будто стремится стереть впечатление от рассуждений Бянкина. Не из вражды к нему. Живут они по соседству, праздника поврозь не проведут. И кто бы еще, если не они сами, стал бы выслушивать их бесконечные сетования на сушь, стоящую все лето, и претен-

зни к мировому климату, испорченному атомом? Оба крестьянских корней, к прогнозам погоды прислушиваются так, словно им завтра землю пахать.

Петряй того и другого воспринимает как неизбежное зло. Квалификация у них выше некуда, с любым аппаратом управляют шутя-играючи. А отчего порой мелькает между старинными приятелями отчужденность, сыр-бор разгорается чадным пламенем, сразу не разрешишь, да и разбираться неохота.

Потом замечает припрятанные в бянкинском личном шкафу моторчик антиобледенителя, селеновый выпрямитель и вентиль, ни разу на тепловоз не ставленные. Капитально себя обеспечил, хомяк. Ну, если б все были такие, тогда туши свет...

3

Под забор депо выставили длиннотрубый паровозик. Выглядел он нелепо, осколком невесты каких веков. И где только уцелел! Нельзя сказать, что собратья его — точнее, потомки — насовсем ушли с путей. Попытывают кое-где на маневрах или толкачами на перевальных участках, последние на железных дорогах, как парусники на морях. Отстаиваются в стратегическом резерве «Серго» и «лебедянки». Но то ведь красавцы, богатыри, доведенные до крайнего по их возможностям совершенства. А этот... Техника на грани фантастики, допотопностью сродни каменному топору.

Дядя Митя, вернувшись из отпуска, обошел его кругом. Постучал по тендеру, отозвавшемуся деревянно глухо. По шаткой подножке подняться не решился, хотя рука сама потянулась к поручню: ржавь неумолимо точила некогда блестящие смазкой детали и дряхлая металл.

И вздохнул глубоко, словно дымком на него повея-

ло, славным таким знакомым дымком, от которого в горле запершило...

Что был он паровозным машинистом, не верит ему собственный внук. Для него паровозы все равно что мамы, обросшие рыжей шерстью, вымершие давно и закономерно. Как же иначе, если малец смастерил в школьном кружке робота на транзисторах? Мозговитая штукавина. Скажешь громко: «Вперед!» — мигнет глазами-лампочками, поведет носом-сопротивлением и пойдет себе не спеша. Скажешь: «Стой!» — остановится и ждет дальнейших указаний.

Внук допытывается, когда же появится атомная тяга, поезда начнут ходить со скоростью звука, и заключает победоносно:

— А ты мне про пар! Комик ты у меня, дед, народный артист.

Быстро стали эпохи меняться, раньше такого не наблюдалось. На тепловозы дядя Митя переучился, получил вторые, после паровозных, права управления локомотивом. Огромный был шаг вперед. Паровошки выматывали у бригады все силы, покидай-ка уголек лопатой в прожорливую топку!

В слесари он попросился после того, как под его машиной в одной из поездок лопнула крестовина стрелочного перевода. При падении на бок кабина напоролась на пикетный столбик, ее точно снарядом пробило. Сам вроде бы отделался повышенным на недолгое время давлением крови и головной болью. Но начал следовать по стрелкам с оглядливой неспешностью пешехода, не смог перебороть себя и понял, что отъездился. Пора вон из борозды, чтобы не портить ее. Не по сивке стали крутые горки. Давно смирился было, да вот эта старинка опять всколыхнула.

— Куда его, родимого? — тихо спросил дядя Митя.

— В металлолом. На вечное упокоение.

Он снял фуражку, блеснув сединами.

— А я в сорок четвертом на таком...

На исходе той давней зимы нужно было вести из Большого Токмака в Федоровку эшелон с танками. Под боевую технику, гоня ее на передовую, обычно ставили по две ОВ, а тут второй не нашлось.

— Нету, нету, и негде взять,— сказали ему,— выручай по-фронтовому.

Ему грозили трибуналом, а он не слышал, уже шел к машине.

Он не мог не совершить чудо. И совершил его. Паровозик скрипел натруженными суставами, рыдал, но тянул. И машинист напрягался, жилы рвал, точно прибавляя к силе железа собственную. Никогда перегоны не казались ему такими бесконечными, версты растягивались вдвое.

При стоянке в Федоровке он видел, как танки немедленно прыгивали с платформ, ломая их борта, уходили в бой. Ну, сейчас будет вам трибунал, фрицы проклятые!

Отдышаться ему не дали, развернули назад с санитарным поездом. Это было полегче, и паровоз пел, локомотивы распарывая грудью плотный воздух, и у машиниста душа с небом разговаривала...

Потом налетели самолеты, сыпая бомбами. Несколько раз пришлось то резко тормозить, то набирать скорость, уклоняясь от прямых попаданий. Все вынесла, не подвела «овечка», даже с посеченным осколками и оттого во многих местах сифонящим котлом.

Отпуск дядя Митя провел у Азовского моря, в блаженной тиши городка, объятого садами и виноградниками. На его площади, в нимбе светлых акаций, стояла «тридцатьчетверка», первой ворвавшаяся в городок, отбитый у немцев. Может быть, это ее вез дядя Митя в том невозможном рейсе... Приведенный к последней стоянке, танк тоже выглядел, по современным понятиям, не

таким уж стремительным и грозным. Да ведь уважение ему какое! Благодарные слова на постаменте, в золоте лавровый венок.

— Я б тебя в музей,— сказал дядя Митя паровозу, горестно разговаривая с ним, как с живым существом.— Не для славы, а для памяти людской.

И сам понимал, что великоват стальной работага, под стекло не упрячешь, бархатом не обложишь. Только не экспонат он, а память сама, которой не след ржаветь, истлевать, обращаться во прах!

Когда паровозик начали деловито крошить автогеном на вторсырье, для удобства предания его переплавке,— не без оснований сказался больным, давление пошаливало, и неделю на работу не ходил.

4

Почему-то именно Бянкина дядя Митя выдвигал в общественные инспекторы по безопасности движения, отклоняя другие кандидатуры. Проведешь, мол, пару проверок в месяц, тебе зачтется и всем польза. Об нарушениях-то на каждом шагу спотыкаешься. Расшевелить пытался, не верил, что это бесполезно? Тоже Ми-чурин, захотел яблоню привить осине!

— Я за себя знаю, за других ничего не знаю,— отмахнулся Бянкин от его приставаний. И снова сыплет дешевыми похвалами. А не шелохнется, когда Петряй зашился с подготовкой предохранителей, выщелкивая их один за другим в картонную коробку, а то и прямо в нетерпеливо протянутые руки поммашинистов. На этой мелочи не больно заработаешь, есть и помоложе Бянкина кому за нее браться.

— От, деятель народного хозяйства!— поражается дядя Митя.— Совести ты не знаешь.

И с новой энергией берет Петряя в оборот.

— В институт заявление не подашь — прогоню с глаз долой, как не оправдавшего доверие. Моя жизнь, предположим, сто процентов, ты на двести жми.

— Ну да, ну да, конечно! Не Митрофанушкой родился,— встревает Бянкин (дядя Митя круто зыркнул на него).— Сейчас не то время, когда один поп Филька грамоту знал, сейчас все инженеры.

В его поддержке не ахти как глубоко скрыта подковерка. Никто не клюнул на эту наживу, и тогда Бянкин поворачивается другим боком.

— Ты и так не худ, не мят, не клят. Жить надо без фокусов. Жениться на хозяйственной девушке, встать в очередь на квартиру, детишек завести ..

Но «фокусы»— это у Петряя, должно быть, наследственное, а значит, неистребимое. У него мать — она работает в дистанции защитных лесонасаждений,— в своей оранжерее розы развела не хуже, чем на юге, по любой цветочной луковице вид и сорт определит, хотя это не входит в ее обязанности. Отчего бы и не выкинуть такой номерок, чтобы у некоторых мудрецов округлились их квадратные глаза!

Бянкина можно считать кадровым железнодорожником только за стаж. Не той он породы, слишком себе на уме. Сверх положенного с него не спросишь, такую сквасит рожу! А депо работает неритмично, слесарей дергают, как петрушек. Надо ударно поправлять чьи-то промахи, иначе движение на дороге встанет. Но раз взялся, тяни, как слон, другого выхода нет.

Насчет учебы Петряй согласен. Только смешно ему, что его судьбу устраивают, не спрашивая его самого. Нехорошо, товарищи дорогие! Выходит, свадьба без жениха.

Он смотрит на себя со стороны, чужим и фотографически беспристрастным взглядом. Дядя! Не ошиблись пацаны у газировки. Мальчиком его давно не зовут, одна лишь толстуха Сима в инструменталке кличет дет-

кой, но она неисправима, у нее деткой до седых волос останешься.

Заманчив завтрашний день. Кем мы были — уже были, а вспоминать не хочется, кем стали — уже стали, а кем будем? В жизни раз бывает восемнадцать лет, никакие дороги не закрыты. И, перебрав мысленным взором эти дороги с неисчислимыми распутиями, решит он сам, которой отдать предпочтение.

5

Дядя Митя не Бянкин, у него нет привычки стелать: «Мы в твоём возрасте...» Но к размышлениям об институте он, окончивший семилетку, ремесленное да курсы в дортехшколе, возвращается вновь и вновь.

— Надо ещё разобраться, где гордость в полной правоте. В механическом цехе история была. Прислали ученую девушку в мастера. Собрались ребята у станка, озабоченные такие. «Конусит, — говорят хором, — передвинуть надо, видите, неровно стоит». Она и поверила, командует двигать... Ее сразу в контору перевели, подалась от позора. Мы на паровозе тоже одного спеца разыграли. «Иди в тендере воду перемешивай, на подъеме пару не хватает». И вот он ее крутит черпаком, «по часовой стрелке», бригада учит, за животик хватаясь. Просто тянуться надо повыше, чтоб пошире глаз обзрел, не в смысле теплого руководящего местечка, а...

В каком именно смысле, толком объяснить он не умеет. Истину чувствует, да грамотешка подводит. Вдруг протянул зубило:

— Сходи, заправь.

Петряй глянул небрежно — такая проба для него пустяк. Однако невольно заторопился, искры от наждака полетели во все стороны, лезвие выходило неровным. Справился, конечно. Принес, подал абсолютно спокойно.

— Ничего, подходяще, — с грустным удовлетворением

сказал дядя Митя.— В слесари ты вышел, дальше сам смотри.

И отложил зубило в сторону...

— Чем звезды считать, глядел бы в ноги. Добра не найдешь, так хоть не упадешь,— произносит Бянкин никому, в пространство. И потому, наверное, не находит благодарных слушателей.

Он вышел покурить к пожарной бочке. А тут бежит, аж спотыкается, взмыленный слесарь из цеха профилактики:

— Помогайте, бракоделы,— вентиль полетел, тепловоз на выходе!..

Петряй, решительно открыв шкафчик Бянкина, достал и отдал новый вентиль. Взамен подчеркнуто аккуратно и даже бережно положил другой, со щербинкой. Счастливого пути!

Смущенный его разбоем, дядя Митя отворачивался. Бянкину в глаза смотреть не мог. Ругал внука, расковырявшего хорошие, сувенирного исполнения часы, когда-то врученные деду за безупречную работу вместе с ветеранской медалью. Атомного двигателя ему для модели звездохода не нашлось, так он пружинный завод решил приспособить. Да еще паровозы, видите ли, презирает!

Обычно Бянкин эту тему всегда готов поддержать и развить. Дети от него уехали и писем не шлют. Не обижал ведь, все им отдавал, а они фыр-фыр кверху гордыми портретами. Пусть бы лучше денег просили, да все ж писали...

Он отрешенно возится с регулятором, добиваясь его плавного переключения со ступени на ступень, и не откликается. Деловой, как воробей на помойке. Если бы он знал о заложенной под него mine, сразу бы утратил самодовольный вид. Дыму будет до небес.

— Стой!— насмешливо сказал ему дядя Митя, как роботу. Но тот даже носом не повел.

Утром старики опять повздорили. Дяде Мите надое-
ла донельзя истрепанная кожаная фуражка друга, лет
двадцать Бянкин с ней не расставался, возможно даже
во сне. Сдернул ее, положил на шпалу и козырек отру-
бил. Кажется, все, дружбе их пришел конец...

Петряй в этот день сдавал — и без особых затрудне-
ний сдал на четвертый разряд. Все давно было ясно.
Очистив руки смоченной в солярке ветошью, ждал офи-
циального решения. Одним выпускником больше стала
числить академия в электроцехе. А Митрофан Данило-
вич отчего-то упорно засобирался на заслуженный отдых.

Оба его учителя вместе спускались из голубятни
после оформления протокола экзаменационной комис-
сии, как ни в чем не бывало обсуждая каверзы погоды и
виды на урожай. Он пошел им навстречу, еще не зная
точно, что скажет каждому из них.

КОМАНДИРОВКА НА ЧАС

1

Аверьянычев грозно, как хищная птица, поглядывает на Гаврилика поверх очков с толстыми стеклами. Дверь отдела распахнута настежь. Стонет вентилятор, и бумаги на столе шевелятся как живые.

— Не дать ли тебе удостоверение нештатного собкора? Восемь заметок за два месяца как палкой сшиб.

— Семь,— смущенно поправляет его Гаврилик, хотя готова уже и следующая.

В апреле он принес в редакцию заметку, первую в жизни. Писал долго, воодушевленно и кропотливо, чтобы не стыдно было нести на суд матерых газетчиков. Ее охотно приняли, безоговорочно урезали вдвое, до сотни строчек. И напечатали на первой странице:

«Автор этого лирического репортажа работает монтажником на ударной комсомольской стройке. Он по праву является одним из тех, кто, подобно его героям, одержим романтикой неизведанного...»

Все началось для него после обыденно прошедшего получения путевки на стройку в райкоме. Праздник не праздник, но там забыли даже поздравить его со знаменательным событием, не видя необходимости в фанарах.

Стройка открывается перед ним, словно незнакомая чудесная страна. Здесь невозможно оставаться хму-

рым и одиноким, вокруг надежные друзья. Происходят встречи, которых ждешь всю жизнь. На одной из шершавых бетонных стен мелом начертано — Гаврилик лучше всех знает, чьей рукой, — «Я люблю тебя, Натка!»

Над веселой пестротой панорамы будущего химкомбината занимается новый день. Фантастические стебли колонн проламывают хрупкий земной покров. Встают на виду у зауральских синеющих далей стооконные корпуса. В них есть что-то от Кремлевского Дворца съездов, будто бы они тоже предназначены для торжеств.

Спасибо тебе, зеленая планета, за доброе июньское утро. И еще спасибо за стройку!..

Аверьянычев глух к этим восторгам, его не завораживает колдовство словес. Все написанное Гавриликом он считает мелковатым, так, на подверстку.

— Порхаем, умиляемся, — говорит он, без малейшей запинки читая на лице Гаврилика все то, что мучительно переживается им. — Ты никогда не пробовал питаться одними пряниками? Нам на первую полосу нечего ставить!

Оправдательные доводы не производят на него никакого впечатления. Сокращает он сердечные творения Гаврилика с безжалостной простотой, донага раздевая немногочисленные факты. Надолго закашлявшись, страдальчески отмахивается от предложений проводить его домой, глотает таблетки. «Как бы в больницу не загреть, это на месяц, не меньше».

Одна из семи заметок поведала о старом бригадире, которого порекомендовали автору как хорошего работника. Тот рассказывал о себе гладко, стройными фразами, видимо делая это не впервые. Получилась натуральная поэма. Гаврилик был упоен ею, а потом ему сказали:

— Пахать он умеет. А забудешь из дому денег взять на обед, попроси у него займы — так голодным и останешься.

Рецензенты были свои, утешили, приметив его расстроенный, убитый вид:

— Ничего, писарь пишет, утка свищет — только перышки летят. Еще не на таком пообжигаяешься...

Он пожалел, что не был задержан при попытке напечататься, что не догнать разлетевшееся по городу вранье.

О мире в красках завтрашнего дня писать легче. Тут нет фальши, он действительно существует, вырастает в тебе и выплескивается наружу из переполненной души. Нужно только вовремя запечатлеть мгновение, когда видишь его наиболее отчетливо.

Гаврилик работает до пяти часов, как и вся редакция. Не поспевал бы он сюда, если бы Аверьянычев не засиживался вечерами в отделе: дома его никто не ждет.

2

Лестничные пролеты цеха сквозят незастекленными окнами. Гаврилик бегом поднимается на крышу и едва переводит дыхание — от удивления или от гордости. быть может. Никак не привыкнет к простору, открывающемуся с высоты.

Смотрят на него чуть насмешливо, но все же одобрительно.

— Рабкор! А мы думали — новый мастер или на практику к нам.

У бригадира Жусупова свежий, необтертый комбинезон. Однако по манере держаться сразу узнаешь кадрового строителя, со стажем под четверть века...

— Красиво получается, — кивает Гаврилик в сторону машины теплообменника, опустившегося, подобно дирижаблю, на бетонные стояки. Жусупов мнет папиросу и с ответом не торопится.

— Бетонщики держат, развернуться не дают. Не дачу свою строят, там бы они по-другому время считали.

Опоры, задвижки, трубы, целые километры труб, органично гудящих на ветру... То сияющие, то сумрачные дни... Как знакомо Гаврилику все это! Его бригада работает неподалеку, на таком же объекте. Его отпустили на час, «в творческую командировку». За полтора месяца они тоже собрали цех, да еще какой! В апреле на его месте и котлована не было. Степь колыхалась, да ближе к Уралу квадратились колхозные поля.

— Работаем,— неопределенно говорит Жусупов. Он разостлал на коленях простыни рабочих схем, листы которых заложмачены по углам.— Можно и красивее найти. Вон у Корчагина ребята — орлы!

Он щурит и без того узкие глаза. И вскидывает плечо, защищаясь от порыва ветра, словно боксер от удара.

Гаврилик с трудом сдерживает улыбку. Потому что уже заходил к корчагинцам. Их бригадир отослал нежданного репортера к соседу.

— Моя молодежь,— говорит,— и десяти строчек не заслужила. Вот у Жусупыча — гвардейцы, о них пиши, не промахнешься.

Вчера Гаврилик наблюдал, как ставили газовую колонну. Это цилиндрическое, на ракету похожее сооружение медленно, почти незаметно для глаз приподнималось с подушки из железнодорожных шпал и, вминаясь в них одним концом, шло вверх. На рискованном пределе дрожали натянутые струны тросов и растяжек порталных кранов. Три дизельных трактора ревели, будто разъяренные медведи. Они выпускали облака черного дыма, рыли гусеницами землю, стремясь подать серебристое тело колонны вперед. Еще усилие — и она поднялась, чтобы вершиной упереться в облака...

Увлеченный зрелищем, Гаврилик забыл спросить, кто вел подъем. Сегодня узнал: второе корчагинское звено. Вот ведь, черт лысый, хоть бы слово сказал об этом!

В редакции организовали встречу с ветеранами. Они сразу откликнулись на приглашение. Пришли торжественные, что называется, при параде, расселись чинно, слегка настороженно: в честь чего это они понадобились?

Гаврилик пристроился в уголке и смотрел во все глаза. Постепенно старики разговорились, даже разгорячились, вскоре непонятно стало — уж не комсомольская ли ячейка собралась?..

Они помнят раздольно колосившиеся в степи хлеба и полевой стан у рощицы, которую вырубили, а после разбили тут городской парк. Первый год они жили в палатках до октября, уже по снегу переселялись в дома. Кое-кто так и живет до сих пор в тех бараках.

Город и его большая химия — главное вещественное доказательство того, что они тоже были молоды и сильны. А подробностями их воспоминания скудны, летописанием никто не занимался.

Неужели вправду можно забыть, как бьется сердце на утре наших дней, каждый миг которого впечатывается в душу? Каждая мелочь весома и значима. Поднимешь голову — двинутся растрепанные облака и качнутся лайнеры корпусов, отплывая в завтра. Перед глазами, утомленными обилием света, мечутся синие сполохи.

Если Гаврилик напишет об этом, Аверьянычев непонимающе скажет:

— Человек ты или мотылек?

Штат у редакции невелик. Один сотрудник в отпуске, другой без опыта совсем. У остальных нагрузка двойная, а не дай бог, радикулит у кого разыграется... И так журналисты меньше всех живут. Накурят в коридоре, в панику вгоняя пожарных. На полосе то дыра, то материал ненароком выпирает тестом из квашни. Здесь

вечно горячка и штурмовщина, как на стройке перед пуском.

— А очень интересно,— вслух задумается Гаврилик, глядя на полку со справочниками и брошюрами,— кому бы могли принадлежать эти слова: «Блистательная эпоха индустриализации встает над глухим буреломным краем»?

Реплика достигнет цели, взгляд у его собеседника явно смягчится.

Вот что писал дальше Степан Аверьянычев, бетонщик со строительства Уралмаша, приводя массу необязательных деталей и примет времени.

«Облуплена от сырости масляная краска балконных балясин и колоннады старого, чуть ли не демидовских времен здания театра «Колизей». Длинноволосый скрипач, зажав под мышкой свой нежный инструмент, зябко сжимает и разжимает пальцы, оглядывая нетопленный зал.

Музыка говорит о чем-то далеком и воздушном. Вздыхают перелистываемые ноты, и самозабвенно печатится скрипка...

Вся Россия тут — владимирские каменщики и маляры, рязанские землекопы и ярославские столяры, уральские умельцы-металлисты и курчавобородые сибиряки, мастера на все руки. Они дымят сигарками и сосредоточенно выслушивают новости из картавых репродукторов. Для них, насупленных, с лохматыми ушаками на коленях, играет Листа заезжий квартет, и убеждает скрипка, что все задуманное сбывается».

4

— Корреспондент?

Девчонки в одинаковых, как у матрешек, косынках издали помахали рукавицами:

— Привет, корреспондент!

Они бегут на обед, лавируя среди луж, а то и шлепая сапогами прямо по ним.

В дощатой столовой-временке грудятся цветные столики, звенят подносы. Рядом с написанным от руки меню висит объявление: «У нас не курят и спиртного не пьют» и любопытный плакат, изображающий кулак с поднятым большим пальцем: «Качест-ВО!»

Девчонки повязаны косынками по самые брови, отчего их лица кажутся маленькими, забавно детскими. Гаврилик расспрашивает их о работе, о настроениях и планах, снова досадуя на краткость ответов.

Официально считается, что они бетонируют кровлю. На самом же деле им приходится заниматься всем, от штабелевки кирпича до зачистки траншей. Утром пришли две машины раствора — расхватили за минуту. Кровлю засыпают керамзитом (он похож на мелкую картошку) и заливают серой цементной кашцей. Придешь назавтра и оглянешься изумленно: туда ли попал? На полгектаре перекрытий маслянисто блестит ровный покров.

...Очередную порцию бетона привезли под вечер.

— Если оставить, засохнет же!

Все повернулись в Наткину сторону.

— И дела всего на полчаса. Ну ребята!

— Давай, комсомол,— обидно протянула Маруся Федоткина.— Образованные. Больше всех надо.— И лопату бросила решительно, бесповоротно, колыхнувшись всем своим большим телом.

— Маш!— закричала было Натка. Отчаянно махнула рукой, ожесточенно схватила тачку с бетоном, разгоняя ее по узким подмостьям. Ее пытались остановить мигом же измостаешься, дуреха несообразная!.. И все-таки пришли на помощь.

Раствор как растаял. Наверное, потому, что день был жаркий... Но пустая тачка вдруг потянула Натку

вбок, в наклон. Очнулась она, когда ее усаживали в тени у стены.

Бригада делегировала Марусю к Гаврилику.

— Гоним, аж у кранов пятки отстают: давай, давай, скорее да быстрее,— канючила она.— А раствору дают по воробыному глотку. Всыпать надо Василенке по первое число!

«Василенко, диспетчер с бетонорастворного узла»,— записал Гаврилик в блокноте.

5

Пулеметно грохочут отбойные молотки. Земля изрыта и переверочена, как на поле большого сражения. Электроды в пачках у сварщиков похожи на стрелы в колчане... Сравнения военные, а бой идет мирный.

Надо поведать всем о молодых, захваченных романтикой гремющих будней, острым, пьянящим холодком высоты и обаянием риска,

о них, идущих напористо, крупно, именем дерзкой юности берущих рубеж за рубежом,

о тех, кому снятся не построенные еще города и заводы, которые не хуже летописи скажут правду о нашем поколении,

об одержимых, прокаленных солнцем, вобравших в себя целый мир, огромный и прекрасный мир созидания и счастья.

И знаешь — больше всех ждет строчек репортажа Натка. Чудо зеленоглазое в заляпанной бетоном спецовке...

А на растворном черт-те что творится. Сталинградская битва. Требовательно вскрикивают самосвалы. Шоферы атакуют диспетчерскую, вываливаются оттуда красные, распаренные, со смятыми путевками, и кроют Василенко на чем свет стоит.

— Не понимает в деле ничего, а тоже — в телефоны суется!

— Всё торопитесь, всё чего-то доказать хотите,— отмахивается круглолицый Василенко.— У меня шесть строек, как одна, досрочно вышли!

Всыпать ему стоит, Маруся права.

Назавтра Гаврилик прибежал в редакцию с двумя страничками, строчек на шестьдесят. Аверьянычев с обычным вздохом занес над ними авторучку.

Гаврилик отвернулся, следил за вороной, сидящей на соседней крыше. Сейчас взамен описания «Сталинградской битвы» появится деловое и сухое: «Неудовлетворительно организована деятельность растворного узла, бригады Жусупова и Корчагина не обеспечены фронтом работ». Отрицать необходимость хирургического вмешательства в текст не имеет смысла. А все же тяжело.

Когда перо скрипит по бумаге, это наводит на мысль о зубной боли. Но что-то слишком быстро приотмолкло оно...

— Будь так добр,—услышал Гаврилик голос Аверьянычева,— положи на стол машинистке.

Он обернулся, уже отстрадав от перелицовки своего творения. Перед Аверьянычевым лежал один листок.

«Удостоверение» — бросилось Гаврилику в глаза.

— Пусть отпечатает на фирменном бланке,— сказал Аверьянычев устало, почти безразлично.

ДНИ ВЕСНЫ

1

Вода заговорила, заплескалась и зашипела, будто газированная. Упруго оттолкнул решетку борта и отплыл назад дощатый причал. А город еще долго вставал справа, не терялись из виду чертежные линии его микрорайонов, верхи старого собора, игла телевышки. Шедший навстречу пассажирский теплоход предупреждающе, трубно гукнул, звук отдался эхом — и укатился в луговые заречные низины.

«Что там, чего там колеса судачат? Ведь дом еще близок и путь только начат...»

Колес у трамвайчика нет, и все-таки песня права. Туристские дороги неразлучны с ней, как и с молодостью, наверно. Всем хорошо, есть даже собственный гитарист. Он нужен всем. За ним пришли лазутчики с нижней палубы, схватили его и нахально унесли туда на руках. Но вскоре он вырвался из плена, слегка потрепанный. И еще бодрее ударил по струнам — про крокодилов, пальмы, баобабы и жену французского посла в Сенегале.

Комсомольский клуб «Эра» давно планировал участие в областном слете. Зойку, с ее карпатским и байкальским опытом, выдвинули в командиры отряда. Несколько месяцев назад она окончила институт и работает начальником смены на машзаводе. Там одна-

дцать мужиков от нее плачут, а уж с нами она управится запросто. Замужних и женатых в поход не взяли — пусть греют свои старые кости на печи!

И вот мы с грохотом прошли по шатким мосткам на трамвайчик до Валов, пропуская вперед бабок с пустыми корзинами и бидончиками. Эти ранние птички уже возвращаются с базара, а мы пропустили самый удобный рейс, дожидаясь двух Свет и одну Таню. Они явились прифранченные, будто на танцы. И отмахнулись от Зойкиных выговоров, заявив, что точность является свойством ограниченных натур. А опоздания, выходит, признак широкой души?

Неспешно и ровно стучит сердце крохотного суденышка. Горой свалены рюкзаки возле спасательных кругов на корме. Вздрагивают под ногами раскаленные солнцем и машинным теплом листы обшивки. За кормой остается беспокойный пенный след.

Наперерез пронесся красноперый катерок, обдав невидимой водяной пылью. Даже бабки на палубе оживились, залопотали, приняв этот неожиданный отрадный душ.

Подняв голову и оглядевшись, Зойка говорит протяжно:

— Какая жара...

Она всегда права, причем настолько, что с ней хочется поспорить. Простейшие слова она произносит с претензией на значимость. Поначалу невольно ищешь в них потаенный смысл — и недоумеваешь, обманываясь.

В суженные зрачки — как бездонны любопытствующие глаза! — врывается сияющий майский день.

Сумасшедшая встала весна. Черемуха обычно зацветает позже яблонь, а на этот раз она даже чуть раньше вспыхнула живым пламенем. И яблони торопливо заневестились, обрядились в подвенечные уборы. Расхудожничался май: начав робкими мазками, вошел в творче-

ский раж, и вот уже на полотнищах его все буйствует и бушует.

Зойка решительно заявила, что мы едем на слет — или никакой мы не клуб, а так, черт-те что и сбоку бантик. У нас не все клеилось. На «Час поэзии» в малом зале машзаводского Дворца культуры забрели две подружки, три старушки. Вечер в кафе «Юность» тоже вышел скучноватым, хотя ни в чем не отклонился от сценария, да и не ко двору пришлось там наша лимонадная компания.

Привставая со скамьи, Зойка пытается перекричать всю «Эру».

Где-то близ Валов, по ее рассказам, действительно есть земляные валы, которыми Чингисхан помечал границы своих владений. Иногда в размышлениях оврагов находят обломки нашественных времен. А в селе открыт даже музейчик с неплохими древностями. Она, Зойка, однажды примеряла в нем бронзовый шлем.

На водохранилище у трамвайчика нет удобной пристани, часть пути придется проделать пешком. Перед высадкой вся наша компания с дружным нетерпением столпилась у выхода, как десантники в ожидании сигнала, — рюкзаки отчетливо напоминают парашютные ранцы и темнота за бортом бездонна. С визгом захрустел щебень под ногами.

— Темп, темп! — голосит Зойка. Фельдмаршал, ей-богу, фельдмаршал. Достанется же кому-то сокровище...

У наших песен солдатский ритм. Так бы идти и идти бесконечно, врубаясь каблуками в траву, в глинистую пашню. Но обе Светы с Таней утомились и просят привала.

Что ж, лежать в отсыревшей душной траве, раскинув руки, тоже недурно. А вредная Зойка поднимает и гонит вперед. На причале она не давала купить мороженого (у мороженщицы дымился сухой лед в коробке, словно там был разведен костер). Дождется, что мы ее

разжалуем! Правда, когда у нее кончились нервы из-за опаздывающих подруг, она сдалась, и ей в знак признательности за чуткое руководство поднесли сразу три стаканчика пломбира. Съела все. И слегка оттаяла.

Давно зашедшее светило оставило смутное зарево. Над донским курганом восстает бледный венец, очеркивая вершину от синевы майских небес. Содраны с плеч приросшие к ним рюкзаки. В сумерках забелели прямоугольники палаток на поляне.

Наконец-то мы вдали от дома, от автобусной толкотни и надоевшей праздничности городских огней. «Остался там пустой житейский хлам...» Готовы каша на березовом соке и чай, конечно же, с дымком.

Тона весенней ночи акварельны. Высоко, фантастично встают огни костров. Они разгораются мгновенно, бросая оранжевые отблески в зыбкое и знобкое пространство.

Лунный свет и звездный свет — как отвыкли мы от них...

И сами собой выговариваются песенные слова о дорогах и встречах и об ожидании встреч, о нашей веселой судьбе. «Мы молоды, мы молоды, по восемнадцать нам...» «На свете нет ни горестей, ни бед, есть только горы, только звездный свет...»

А совсем недавно тебе казалось, что весна у тебя никогда не наступит.

2

Зевая, раскрыли рты чугунные лягушки вокруг каменной чаши фонтана. В мертвом неоновом свете вздрагивали ветки акаций. Я сидел в сквере, и такое творилось со мной... Жизнь никогда мне не улыбалась, и не доводилось еще смеяться от полноты ощущения жизни,

от предвкушения счастья. Найдется ли где на земле кто-либо, понимающий тебя и верящий в тебя или, по крайней мере, готовый понять и поверить?

Ночь обросла инеем, и казалось, что до рассвета недалеко. Мороз колкий, как елка. Деревья примерзли вершинами к небу.

«Явь или сказка, небыль иль быль? Сыплется с вето-
ток звездная пыль».

Пробежал трамвай, звенели голубые строчки рельсов, строчки из ненаписанной, почти гениальной лирической миниатюры.

«Я не знаю, вспомнил я о ком,— Родина, работа ли большая, марсианка ль, девочка ль простая, песнь свидания, пропетая тайком...»

Это из стихов, которые нравились Тимоше, единственному читателю их.

— Песня,— поправлял он.

— Нет, песнь.

— Ну, давай,— говорил он,— тебе разворот на все триста шестьдесят градусов.

Он уезжал в долгосрочную командировку. Общежитие, пронизанное то задумчивыми, то отчаянными, то вовсе непонятными магнитофонными мелодиями, гудит, покачиваясь рыбацким сейнером на волне.

Он мой друг, Тимоша. Он приходил со смены, сбрасывал до блеска заношенный ватник, отмывал руки, тер их, как хирург перед операцией. Рассказывал, как пацаном завербовался на стройку в Чистополь, как в армии служил. На Каспии четыре навигации провел (метафора насчет сейнера навеяна им). Видел там странный лед — не гладь, а рябь, точное подобие волн, словно им сказали: «замри»!

Моя биография вдвое короче.

— А понятие — вчетверо, факт, а не реклама,— смеялся Тимоша.— Не в обиду тебе, но если поймешь, сможешь написать об этом. Настоящее. Для всех.

На руке у него синими буквами выведено: «Валя». Бывшую жену его зовут Варей. С орфографией не в ладах? Нет, была и Валя... Если он не приходит ночевать, значит, у него снова большая любовь. Брак с Варей допустил по молодости, не сразу поняв, что она за копейку с крыши на борону прыгнет...

Тимоша прост, как хозяйственное мыло. И, кажется, поэтому преклоняется перед всякими душевными тонкостями. Любит Есенина, хотя мало помнит его наизусть. То был поэт всяя Руси!

— Ты опять за книжками?— осторожно вглядывался он в мою писанину.— Походил бы по деревням, поговорил со старухами... Вот обыкновенный человек, да ты слово найди, чтоб встал он тут, в натуре, мне будто бы родня. Побори плохого, подними хорошего! А то форсишь все, задаешься, как будто не нашенский.

Тимоше хотелось, чтобы жизнь после моих строк менялась, вскипала, и надо было ли спорить с ним? Но путь от утверждения желаемого до утверждения сущего оставался непройденным.

Я понимал, что еще не родился, и как бы впервые остро почувствовал холод зимы, от него не спасало тебя старое пальтецо. «Я, может, никакой поэт, слабак в реченьях стихотворных. Что толку о восторгах вздорных кричать на весь на белый свет».

— Вот-вот,— обрадовался Тимоша,— а дальше?

Что дальше, я не знал. Слесарю слесарево? Вглядывался в лица людей, пытаюсь понять их, а детали не складывались в единую законченную картину и сам себе еще не был ясен. Ты, тот, грядущий, зависишь от каждого из этих людей, их судеб, настроений и поступков, они подспудно создают тебя...

И Бушуев тоже созидает? Это есть у вас в бригаде труженик с такой фамилией. Трезвый тише воды, ниже травы. А поддаст — откуда что берется, клопочет инициативой. Его закрывают в вагончике, подпирая дверь

ломом: пусть проспится. Недаром, ой недаром получил фамилию кто-то из его предков. Скорее всего по деревенскому прозвищу, в котором всегда есть смысл.

Народ у нас хороший. Работать умеют, под настроение ребята иногда могут за день выдать недельную норму. Недавно бригаду вызвали в управление и объявили, что ей присвоено звание комсомольско-молодежной.

— На виду теперь будем, наряды начнут закрывать получше,— сказал Бушуев.

И — это все? Раз комсомольско-молодежная, значит, должно быть в ней что-то особенное. Иначе кому голову морочим? Можно и нужно оправдать присвоенное бригаде красивое имя. Но снова по полдня приходится сидеть без дела. Ремонтируем старый каркасно-камышитовый дом, из щелей которого сыплется труха. Цемент в обрез, из каждых трех оконных переплетов заменяем два — больше рам не дали. Хозяйка просит поднять потолок в кухонной пристройке, а где взять материал? Глаза б не смотрели на эту бестолковщину.

В полутемном коридоре общежития, пахнущем жаренной с луком картошкой, вздохнув, частил разговор:

— Шпарим в поезде ночью, места незнакомые. Рядом девчонки поют: «Быть может, до счастья осталось немного, быть может, один поворот». Жизнь, думаю, пошла ого-го!

Кто это? Подойти, поздороваться, сказать, что мы с ним одной группы крови — он и ты?

— А тебе до счастья нужно бы не только ехать вот так, но и чтобы песню пели, которую ты сочинил, и чтоб верили песне и тебе,— неожиданно сказал Тимоша, иногда бывающий жутко прозорливым и точным.— Места незнакомые — это еще не все. Ладно, отказался от покоя, воспел дорогу, но куда и зачем держишь путь? Для форса если, так все равно наружу вылезет.— И добавил:— Машины сегодня погрузили. В голодную степь уезжаем — слышал?

Слышал. Пустыня. Песок. Косые азиатские ветра. И канал. Семьсот совхозов получают воду для хлопка и Продовольственной программы. Не то что тут, в гор-ремстрое, по мелочам ковыряться. Даже Бушуев понимает: какá такá работа, цоб-цобе вокруг болота...

— Счастливо. А меня брать не хотят.

«Мы молодые, мы молодые, по восемнадцать нам, и путь-дорога надобна беспечным пацанам..» Слесари везде нарасхват, и где еще быстрее прибавлять в росте, как не у большого дела?

— Опять воображаешь? Правильно не берут,— сказал друг.— Ты все выдумал. А жизнь не выдумаешь, строчи хоть в три пера. И не в дороге, сто раз повторю, суть.

«У тебя еще глаза не открылись»,— сказал он с трогательной заботой о моем таланте.

Стало грустно. Потому что возразить нечего. Банальность не мешает истинам оставаться истинами. Было как сон туманный, и понимал, что спишь, понимал, что наяву рискуешь остаться беспомощным и будешь беспощадно бит, встав и пойдя туда, где все сложнее и прекраснее! Но все равно, если бы жизнь походила на школьное сочинение, упрямо поставил бы эпиграфом к ней: да, я люблю высокие слова! Должно быть красиво, крупно, как в книгах и в кино, иначе чувствуешь себя обделенным. Иначе зачем все, если это не на высшем уровне?!

Стремление к совершенству убийственно, его можно удовлетворить лишь в искусстве, тайны которого, когда приближаешься к ним, открываются зияющей бездной. Что пред ними твоя ересь и окоlesiца?..

Друг уехал. Ему путь на восток, день за днем вкруговорот и вперехлест. А тебе? Что тебе в свете дня и тьме страниц? Посмотришь в себя, а потом... потом оглядишься, потому что нужно понять, отчего тревожно, точно туча нависла, и неизвестно, теплым дождем

окропит или градом посечет. Не оттого что недоволен жизнью, просто хочется насыщенности тысячью жизней в ней. Если не хотелось бы, не имел бы цены в собственных глазах, плюнул бы, пошел в домино играть.

Это Тимоша достал тогда для тебя цветы, бледные, слабо пахнущие примулы, а ты уронил их в снег...

3

Я оцепенело вглядывался в темноту. Ветер кружил, бил в лицо, гнался за мелькнувшими в переулке тенями. Лампочка на столбе качалась и мигала, сигналила марсианам. Никогда не было в мире ничего, кроме этого бешеного ветра. Точно разогнался на мотоцикле — только та скорость еще и слезу вышибает, а тут обходится без слез.

Вахтерша в общежитии дремно подняла голову: а, свой парнишка...

Холодом потянуло от поскрипывающих ставен, так, как если бы они растворялись легким нажатием руки. Но разве ты ждешь кого-нибудь? Разве простительно вечное беспокойство, вечное недовольство собой... и невозможное для тебя не составляет трудности другим... Способен трамваем доехать до звезд, неспособен встать в очередь за колбасой — лучше голодным остаться.

Читал я запоем, ходил каждый день в трестовскую библиотеку, нагружаясь литературой, сколько мог унести, даже не верили, что успеваю прочитывать. Записался еще в одну библиотеку, чтобы разговоров лишних не было. Разве, знаешь, где, о какой огонь обожжешься...

Взял письма Чехова. Она увидела в формуляре воспоминания о Маяковском, бунинские стихи, посмотрела с улыбкой. Эта улыбка облила меня пламенем, заслонила вдруг все, что было прежде со мной.

Она выдавала книги, и только я не мог смотреть и не мог не смотреть на ее обтянутое платьем сильное тело и напрягшиеся под капроном ноги. У нее были такие глаза, точно она прислушивалась к чему-то, сокровенно происходящему в ней. Что обещало мне светом этих глаз неизмеримое «завтра»? Она во многом совпадала с той, которую издавна рисовало воображение, а там, где не совпадала, казалось, превосходила ее.

«И вот — нет времени опомниться, и вот — дни ожиданием полнятся».

Твоя несбыточная женщина, имени которой ты не назовешь никогда никому... «Я пришла. Я пришла сказать вам, что надо мной и над вами, над нашей любовью будет вечно сиять солнце!»

Я уже знал — мне не спать ночь, писать поспешно и жадно в хранимой пуще глаза общей тетради. Не о том, что увидел, о том, что привиделось. Постоянный внутренний монолог сменится диалогом. Я буду говорить с ней — и так и не скажу ей ни одного своего слова.

Мне стало нужно быть выше высокого, сильнее сильного... купить галстук, позаботиться о складках на брюках.

«Если бы я был бессмертен, я бы любил тебя все мое бессмертие».

В свежей тишине падал снег. Снежинки вспыхивали звездочками, словно я скользил по Млечному Пути. Во мне все цвело и пело, будто наступила весна и прошлым становилось одиночество.

Шесть раз я поднимался по ступенькам в библиотеку. Шесть дней. Седьмой был выходной. А я забыл об этом и, задушив свою робость, нес ей цветы.

— Ходили Аленке пальто покупать, да не выбрали, непрактичные все попадались, дорогие и маркие, — сказала она шедшей с ней подруге или соседке. Аленка тянула ее за рукав, хныкала и ловила снежинки, а она говорила, не замечая меня, идущего следом.

«Я пришла. Я пришла сказать вам, что пальто попались дорогие и маркше...»

Подойти к ней стало все равно что встать в очередь за колбасой.

Жалкий пучок цветов — что мог значить он для нее, и к чему был здесь я...

Лицо окаменело. Мечты есть чистый дух, который в соприкосновении с действительностью материализуется и, следовательно, погибает. Но это несправедливо. Нужно проще, поэзия в жизни не все, и не все в жизни поэзия. Никто не питается цветочной пылью и не одевается в лепестки роз. Тебе тоже нужно пальто, и тоже недорогое, поскольку пока что ты примериваешь одежду не по плечу, а по карману.

Из боли тоже рождаются строки. Нужно докопаться до сути, рассказать, убедить, что ты не можешь иначе. К этому тиранически понуждает тебя врученный тебе судьбою дар. Но — ты сказал себе «нет», а кто скажет тебе «да»?

В газете промелькнуло объявление об открытии комсомольского клуба при райкоме — не податься ли туда? Надо же что-то искать. Из двух вариантов действий лучше тот, который активнее. В нем проявляешься ты сам, вопреки случайным посторонним силам.

Краски улицы глубоки и чисты, как перед большой переменной погоды. Завтра в следах по снегу проступит вода, торопливо всхлипнет капель. Разевают рты чугунные лягушки, и вздрагивают акации в ночи — никогда еще не видел таких лунных, пронизывающе ясных ночей.

Слава той зимней, некончающейся весне за улыбку, пусть обманувшую, за все, на миг осветившее твое бытие. И за примулы на снегу... Ты мог отдать их Аленке, она перестала бы хныкать. «Стало бы вас двое», — сказал Тимоша.

Свет режет открывающиеся глаза.

Ведь была улыбка, ты не выдумал ее, она грела тебя — разве этого мало?

4

На слет собралось несколько сот человек. Самодеятельные барды провели свой конкурс и объявили антракт до генерального костра. Сложенная на поляне огромная пирамида из сучьев и стволов полыхнула будь здоров!

В безумствующей возле огня толпе я потерял команду «Эры». И сразу заскучалось среди общего веселья, хотя какие-то незнакомцы пытались втолкнуть в круг. Там, где шумят, ничего не слышно.

Я пробирался между палатками, обходя их стороной,— возле одной веселятся, возле другой выясняют отношения, возле третьей уже целуются. Разгреб золу брошенного костерка, набросал веток на угли. Ничего, терпи, все воздастся. Одиночество есть форма суверенитета души. Она страшит лишь того, кто сам себе не интересен.

Как ни странно, думалось о работе. Превратить бы час сдачи очередного объектика в своеобразный торжественный ритуал. Собирать всю бригаду, выслушивать благодарности хозяев обновленного дома или детского сада за добросовестный труд. Праздника хочется. А то ведь ушли втихомолку — и прощай, опять будни заедают...

Послышался разбойный хруст, кто-то ломился сквозь кусты, словно спасаясь бегством. Зойка... Явилась она случайно, почему-то тоже удалившись от общества, и очень удивилась, увидев меня. Вернуть отшельника в компанию ей не удалось. Мы обменялись любезностями относительно некоторых индивидуалистов и некоторых слишком уж воинственных предводительниц.

Перебеги огня изумительно повторялись в блесках Зойкиных глаз. «Но я — бывалый костровой, не проведешь меня!»

Накануне, рубя сухостой, умудрился загнать себе под локоть приличный сучок. Никому ничего не сказав, ушел в медицинскую палатку. Ее хозяин — студент — ковырялся в ране швейной иглой — лучшего инструмента у него не нашлось — и признавал, что его профессор, увидя ученика за такой первобытной операцией, упал бы в обморок. Или счел это народной медициной.

Сучок он все же выколупнул. Я вернулся к своим, надев рубашку с длинным рукавом, чтобы не бросался в глаза бинт. Но Зойка о происшествии пронюхала и долго зудела незадачливому дровосеку насчет безопасности в походах.

А сейчас она спросила:

— Как у тебя рука?

— Ничего, терпимо.

— Лучше б я сама пострадала,— сказала она сварливо.

— Зачем тебе?

— Вдруг пожалел бы кто-нибудь...

Зойка, вызывающая к милосердию? Это было что-то новенькое.

«Порой до боли хочется участия, внимания иль жалости чуть-чуть»,— процитировал я себя. И неожиданно прочитал полностью стихотворение, в котором участие, конечно же, рифмовалось со счастьем и утверждалось, что порою доброта нужнее хлеба.

Поразить ее более и глубже я бы не смог при всем желании. Она с начальственной безоговорочностью потребовала еще стихов. И слушала, слушала их, хотя они уже не затрагивали столь милые ей темы некоммуникабельности и дефицита доброты.

Во тьме вставали чудные видения. Проза то звучала

или стихи? «Медлительная торжественность заката... Постепенно гаснет синева. Скользит по облакам луч далекой звезды. И надо, чтобы сердце дрожало в этом зыбком блеске, полнясь запахом немыслимых трав, чтобы просилось далеко-далеко, в золотую страну небылиц. Оно зовет в простор, полный поэзии, легкой как паруса, и небывалой, как дерзновенный путь кораблей. Бушует белопенный океан садов, сладко мучая памятью о неслучившемся. И томишься ощущением красоты, которую обязан назвать по имени, познакомить с нею всех...»

Ничего не происходило. Она просто слушала, и все. Угарно дымили угольки. С поляны доносились взрывы хохота, там продолжалось веселье.

Она очень поняла меня в том, что ты проклянешь себя, если произнесешь протискиваясь в автобус: «Проходите вперед, там свободно!» Хоть, похоже, не отступит перед самым переполненным общественным транспортом. Абсолютно согласна, что искусству должны быть присущи неожиданность и даже алогичность, иначе в нем процветали бы чиновники. У нее щиплет в глазах, когда она видит маленьких ребятишек (обижали ее, что ли, в детстве?). И вообще целыми днями стоят у глаз слезы. Достаточно незначущей, крохотной обиды, чтобы они вылились, не стихая долго-долго... Она, пока в институте училась, душ пятнадцать проводила «в последний путь» — свидетелем в загсе была.

Почти касался моего лица заколдованный клад ее золотых волос. Но стоило приласкать бедное дитя, погладив ее по голове, как она вскочила — и ушла. Возглавлять, руководить, обеспечивать. Не забыла напомнить, что палатка ей дома понадобится срочно, ее нужно сдавать на склад.

...И вот уже «утро красит нежным светом» подножие Чалдонки. Вьются дымки над просыпающейся поляной. Посвист налетающего с моря ветерка мешается с гу-

лом по-цыгански пестрого табора, с хлопанием полупиратских ярких флагов.

Солнце высветило зелень горных склонов, морскую голубизну. Его тонкие струйки просачиваются сквозь наклоненную над вами хвою. По палаткам ходят тени сосен, по морю — тени облаков.

Это была дерзкая идея — надеть Зойке на время парада-алле к вершине кургана мотоциклетную каску наподобие шлема полководца. Черта с два она смутилась, шла подбоченясь горделиво. От вчерашней ее открытости не осталось ни малейшего следа

Вернувшись с парада, команда начала выкладывать тур на берегу, где в прошлом году, спеша на такой же слет, в шторм разбилась шлюпка со всем экипажем. Зойка хваталась за неподъемные камни и не сразу принимала твою помощь.

Так цветет все и жадно дышит в это ознобно-свежее утро, словно мы, волшебным образом уменьшившись в росте, вошли вовнутрь калейдоскопа. Или попали в радугу, не успевшую убежать от вас. Так взрывчато звучит Дебюсси на одном из семи диапазонов «Спидолы», вскипает звонкая листва, что приходит необоримое ощущение: это наилучший год, наилучший месяц. Столько солнца, ветра и песен, столько весны вмещает день, столько любви и удачи, спутников мая, светит в нем...

Кокетливо горюет гитарист:

Эх, туризм, зараза и неволя,
Эх, туризм, моя собачья доля.
Эх, туризм, будь проклят ты навек.
Самый я несчастный в мире человек!

А хор дружно подтверждает:

Самый я счастливый в мире человек!

Горы перебрасывают, словно мячик, ваше «до свидания!» И не верится, что дороги когда-нибудь кончаются, что одинаково призрачны и надежды и отчаяние.

И не знаю, что ждет меня, и этого не надо, потому что, если бы человек знал все наперед, жизнь остановилась бы. Пусть настают минуты, в которые покажется исполненным яви все то, чем томился, чего жаждал,— не поверить им хуже, чем обмануться!

Вечером я должен занести Зойке палатку.

ПУТЬ К ВЕРШИНАМ

1

Алик закрепил веревку на гранитном клыке, столкнул ее моток вниз. Она летит, змеисто раскручиваясь кольцо за кольцом и сбивая с камней пушистый снег.

— Не поворачивайся к скале спиной,— досадливо, как ребенку, говорит мне паренек, которого я успел приметить вчера на собрании альпсекции.— И никогда не стой под ней без каски, береги черепушку.

Я слушаюсь. Я новичок, а он уже имел значок, но не подтвердил его вовремя следующими восхождениями и начинает заново. Недаром он так подчеркнуто скучал на собрании. Вспоминал, томно полузакрыв глаза, как под вершиной Маншук Маметовой их группу застала гроза и молнии полчаса лупили в гребень совсем рядом, слепя и оглушая.

Здесь ему, с учетом его прошлого опыта, доверили показывать нам вязку специальных узлов. Булинь, брамшкотовый, схватывающий, стремя... У моего учителя это получается шикарно.

— Хорошо держит только красивый узел,— заключает он авторитетно. И пробует вязать с закрытыми глазами, но путается в концах — и делает вид, что именно так был задуман им урок...

Невнимания к его советам он не выносит. Ничего, пусть потешится. У меня есть одно неоспоримое преимуще-

щество перед ним и перед любым заслуженным мастером: у меня все еще впереди.

В секцию я пришел с опозданием, в октябре. На первом же скальном занятии попал на соревнования — участников не хватало, поэтому записали и меня. Напомнили о правиле опоры на три точки, помогли подогнать обвязку к груди, махнули флажком и включили секундомер. Руки-ноги были при мне и не подвели. Скалу животом не обтирал, а шел на отлете от нее, показал третий результат. Но дважды задел ограждения и, оштрафованный, занял четвертое место. Паренек, наоборот, по секундам был четвертым, однако прошел маршрут грамотно, чисто и стал третьим. Когда мы свернули снаряжение, он подошел ко мне.

— Федор.

И жиманул мою руку натренированно, жестко, словно она была эспандером.

Он потешно пыжился, надувал щеки, опекая меня. Я, хотя был заметно старше, прозвал его Отцом Феодором. Он великодушно, как истинный пастырь, смирился с этим, поскольку его могли окрестить и похуже.

На занятиях в классе мы, не сговариваясь заранее, сели вместе. Он мешал мне слушать инструктора болтовней о девчонках (среди новобранцев их почему-то большинство, хотя на эверестах их ряды значительно редееют). По его мнению, в альпинизм подаются самые некрасивые создания женского рода, которым уже не на что надеяться и нечего терять. И вполне убедил меня в своих высоких эстетических мерках, тем более что я тоже ни перед кем не собирался красоваться.

Настоящего друга судьбе не закажешь, нужно выбирать из тех, кто рядом. У меня с ним, не исключено, могла бы образоваться связка — то, чего мне всегда не хватало.

За окнами автобуса опять замелькали пирамидаль-

ные тополя. Прорываясь между их стрельчатыми кронами, солнце вспышками било в глаза.

Это пульсирующее солнце — одна из обычных примет утренней дороги экспрессом по Малому ущелью, до наших скал. Остановка возле них не предусмотрена, однако водители уже привыкли и безропотно делают ее, косясь на гордых безумцев.

Причудливые каменные столбы, дыбящиеся над перегородившими речку противоселевыми барражами, как бы оплетены паутиной. На них навешано двенадцать пар веревок, лучами расходящихся книзу. На маршрутах, промаркированных известкой, тесновато, иногда приходится останавливаться с поднятой к уступу ногой, чтобы не наступить на голову шустрой соседке. Девчонки обращаются ко мне на «вы», я для них уже старик, геронт, праотец. Действительно, выгляжу здесь Ломоносовым в семинарии. Алику ровесник, а начинаю с азов.

Народу собралось много, и обвязок не хватало, их подолгу ждали в очереди. Мы с Федором слазили по несколько раз и, сняв калоши, разочарованно переключились на другое дело. Я долбил осыпь у основания тренировочного бастиона, он лопатой отгребал сыпавшийся мусор. Поколения альполюбов, которые прошли через этот естественный скалодром, выложили по низу его неплохую площадку. Нужно бы устроить еще и трибуны для зрителей, пусть отсюда доносятся восторженные рукоплескания. Вот где широкие возможности для самоотверженного труда безо всякой надежды на вознаграждение!

Но когда на маршрут вышли разрядники, мы сразу бросили шанцевый инструмент. Да, это класс! Ребята одолевают отвесную стенку, порхая, танцуя. словно там установлена для них невидимая лестница. На гранитных лбах они чувствуют себя, как птицы в небе, в

родной стихии. Временами это уже не столько лазание, сколько бег по вертикали.

Не все те салажата, кто сегодня впервые доверяется крюку, веревке, карабину, станут мастерами. Я, например, для себя этого не планирую. Но кто-то непременно станет, мы еще будем гордиться ими и вместе сделанными первыми шагами! А пока что почти для всех непреодолимым оказался выступ, за которым просматривается — при взгляде снизу, — отличная щель. И нужно пробовать еще, еще, обдирая коленки, добиваясь подлинного искусства.

Я тоже «играю на пианино», долго, сторожко похлопывая пальцами над собой в поисках зацепки, а стоящий на страховке Федор кричит мне:

— Ну чего ты там, гнездо решил свить? Не топчись, подбирай ноги!

2

Первое снеговое занятие договорились провести на базе в Туяксу. Горы уже успели поседеть. Дожди там обернулись снегом. И свечеобразную форму, и углубившийся цвет елей подчеркивали белые шлейфы между ними по лавинным желобам. Строгая, мрачновато сияющая графика предзимья.

Отеческие наставления Федора помогли мне быстро найти дом с башенкой у поворота трамвайной линии, а в нем вход в подвал, где у секции оборудован бункер. Глаза разбежались, когда вошел: чего только не хранится тут за двумя стальными дверями, за семью замками! Целую экспедицию снарядить можно. Прежде всего внимание привлекли карты — Памир, Тянь-Шань, Кавказ...

— Лучшее пособие для тех, кто решил заблудиться, — отозвался о них Федор. Светокопии примитивных оригиналов и впрямь были тусклы, неряшливы. Толку

от них, безусловно, ноль целых ноль десятых, пока не обтопаешь собственными ногами каждый ориентир. Сто-верстные хребты с чередой возвышенностей обозначены одной жирной линией... Годится только для интерьера.

Зато выпросил у инструктора томик альманаха «Побежденные вершины», начав собирать литературу об альпинизме. Сухие отчеты о походах читаются, как увлекательные сказания. Среди всего на первое место у меня поставлены «Казачи» Толстого. Есть там несколько абзацев, удивительно точно передающих впечатление от гор: как едущий на службу Оленин внезапно *почувствовал* их, и что бы ни видел он теперь, его мысли сопровождает неотступный праздничный рефрен: «а горы...»

— Он старше меня! — почти восхищенно воскликнул Федор, отыскав на ледорубе дату его выпуска номерной судовой фью.

Штормовые штаны ему достались приличные, он-то не впервые копался в здешних сокровищах и знал, где что лежит. А я свои потом штопал около часу. С ботинками проблема. Мне дали их три штуки. С наихудшего я снимал трикони-боковушки и, хотя они были донельзя стерты, набил их на остальные два, сравнительно целые, но с лысыми подошвами. Трикони держат на камнях надежнее, чем резиновый протектор.

Безупречного инвентаря я не ждал, и все-таки... С веком наравне мы только в том, что баллы на соревнованиях подсчитываем электронным калькулятором!

К месту сбора мы выбирались в субботу, глубокой ранью, опережая грибников. Федор с таким видом указал мне на тропу, срезающую изгиб дороги, словно предлагал сделать открытие. А я сюда частенько ходил по грузди. Однако не стал расстраивать его всезнанием: когда его недостаточно почитают, он глухо замыкается в себе.

Нашему городу, конечно, повезло. Отроги Алатау подступают прямо к нему, властно полуобнимая его. Он

и сам по себе неплох. Но отними у него горы — станет заурядным населенным пунктом. А отними город у гор — они не заметят потери.

Между тем редко кто из местных жителей с уверенностью назовет вершины, видные отовсюду, — манящие, прямо-таки дразнящие красотой и доступностью. Ни трехглавый пик Абая, ни пятитысячник Талгар, спорящий с Монбланом, ни правильную пирамиду Большого пика. В здешних горах можно ходить весь день и никого не встретить. Но каждая мало-мальски пригодная для стоянки площадка замусорена капитально. Значит, сюда все же довольно часто ступает нога человека.

— А в пустыне ты бывал? — спросил Федор, небрежно приветствуя мои рассуждения и завладевая инициативой разговора.

Нет, я с трудом понимаю любителей хождения по ним. Барханы и саксаул — это чудесно. Но удовольствоваться в конце адского дневного перехода колодцем с гадкой, зловонной водой, единственным на всю округу... Прозрачная горная струя, по-моему, нисколько не хуже.

А кого мы оба не понимаем в принципе, так это автомобилистов. Станный они народ. Ну, поезжай туда, куда пешком не скоро доберешься, доказывая на здоровье, что ты нам, шатунам бесколесным, не чета. Нет же, остановится на ближайшей загородной точке, сторожит свою колымагу, и такое неповторимое наслаждение от общения с природой написано на лице... Дорожной пылью написано, да еще с масляными кляксами.

Федор за свои семнадцать успел перепробовать несколько видов спорта. Охладел к фигурному катанию, на которое его водили в раннем возрасте, успешно забросил хоккей и бальные танцы. Хочет освоить каратэ, дельтаплан и сплав на плотах по какой-нибудь Нижней Тунгуске, желательно все сразу. На Тунгуску он агитировал

и меня, но я не соглашаюсь на это слишком мокрое дело.

Я давно сделал выбор. Вдоль и поперек облазил предгорные прилавки, добирался до арчевников, до эдельвейсов, до крупитчатого летнего снега. Спугивал уларов — горных индеек, голоса которых похожи на щенячье повизгивание, особенно когда матка уводит тебя от цыплят. Дважды побывал на пике Кумбель (увы, некатегорийном), совершил с четырехлетним сыном переход из Проходного ущелья в Озерное, через перевал Джусалы-Кезень. Штормовка приобрела бывалый вид, в транзисторе прожег у костра дыру — кулак влезет. Попадал в июле в метель, нанес на самодельную карту, постоянно исправляя ее с учетом сделанных личных наблюдений, десятки ручьев с водопадами, несколько ледников и горячих источников.

А однажды отчетливо понял, что хожу вполсилы и, значит, вполрадости. Как пенсионер по терренкуру. В одиноких и в семейных вояжах есть свои прелести. Но когда захочешь двинуться подальше и повыше... Остановишься там, где другие знают удобный проход, обход или особый способ, и потерпишь поражение в двух шагах от победы.

Федор всласть поиздевался над моими впечатлениями от организованного альпинизма. Да я и сам понял, что приобщение к нему способно охладить многие горячие головы. Умозрительные романтические представления получают основательную встряску.

— Это как начальство посмотрит,— без тени смущения ответил инструктор Алик на нетерпеливый вопрос, куда и когда мы отправимся к заоблачной синеве.

Теперь без согласования с ним я не имею прав высовываться без сопровождающих дальше Чимбулака. Потому что за меня отвечают. Альпинизм четко рифмуется с бюрократизмом. Каждый поход обставляется множеством условий, восемьдесят процентов сил уходит

на преодоление организационных трудностей. С этим можно смириться лишь потому, что нам обещана Гора. Пик Амангельды или Молодежная...

— У нас царит закон джунглей,— просветил меня Федор.— Выживает сильнейший. Тот, кто все сделает для себя сам. У нас никого не выгоняют, сам пришел, сам уйдешь.

«Уйдешь — или останешься»,— надо было бы добавить к этому.

Он учит, что авторитет легче всего заслужить за столом. Про того, кто не жалуется на аппетит, а жалуется на поваров, говорят: «Этот у нас приживется». А если отказываешься от обеда — «такие нам тоже нужны!»

Из Туюксу, прямо от лагеря, можно стартовать на несколько горных гигантов. База пестрит домиками, построенными кто во что был горазд. Есть хижины в элегантном альпийском стиле, отделанные тщательно и замысловато. Рядом языческие рожи вырезаны на высоких пеньках, висит ржавая «кошка», похожая на волчью челюсть.

А вот поставлен у тропы дряхлый вагончик без колес. Дверь его распахнулась, держась на единственной петле. Из грязного, на три метра пахнувшего душной нутра высунулись заспанные физиономии. Донеслась перебранка, кому готовить чай,— в полдесятого утра?!

Федор чуть не подавился со смеху, глянув на меня. Начал страшать долгими ночевками на нарах, застеленных старыми борцовскими матами, в чаду бензиновой печки, с которой маются дежурные,— она то не разгорается, густо коптит, а то грозит взорваться, в чаю плавают радужные пятна.

И это тоже называется альпинизм? Он — не только сияющие вершины и торжество штурмов, но и ленивая одурь приютов? И будь здесь белые простыни, прочие атрибуты презренной культуры, все потеряло бы интерес?.. Горы всему предъявляют строгий счет. Они на-

столько прекрасны, что житейские несовершенства на фоне их слишком бросаются в глаза.

В нашем домике было пусто. В пятницу сюда поднимались две девочки, но уже ушли, никого не дождавшись. Так бы и пропал день, если бы Федор не предложил ради убийства времени прошвырнуться на Мохнатку. Мы отправились на нее, едва высушив свитера у огонька соседей-политехников.

По склону сопки вверх вел след, отмеченный клочками серой шерсти на колючках барбариса. Стоило свернуть в сторону от него — и становилось ясно, что зверь был не дурак, выбрал наилучший путь. Только те кусты, под которыми он подползал, требовалось обойти.

У меня есть чутье на верный курс, оно уже выручало меня в довольно сложных ситуациях. Но всегда, определив маршрут, находишь на нем тропу, подтверждающую твой выбор. Тропы никогда не обманывают, нужно лишь знать, которой из них вручить себя...

За нами, не отставая, полз туман. Он был настолько плотен, что граница его очерчивалась абсолютно четко, сейчас — вон у той двустволой елки.

Он остановился, чуть-чуть не достигнув вершины. Все затопил белый океан, только и осталась в мире суша, что эта макушка сопки. И плыл, плыл крохотный островок, спасенный высотой.

3

А еще альпинизм, оказывается, — это тренировки (мой нынешний статус дает мне право быть первооткрывателем истин).

Они изнурительны — и необходимы потому, что сам себя обязательно щадишь и жалеешь, невольно бережешь от нагрузок, даже сознательно стремясь к ним. Уж больно ломит ноги после двадцати кругов по стадиону. Я честно делаю двадцать, хотя перед финишем

заметно пошатываюсь, а Федор отваливает после девятнадцати и небрежно поторапливает отставших.

Алик соскучился по нам — отсутствовал, сдавая в институте «хвосты», — и зверствует. Точь-в-точь как сержант Малютин, который душу выматывал из нашего взвода, сам выкладываясь до изнеможения. Отжимания «на пальчиках», приседания «пистолетиком», бег вверх-вниз по лестнице, футбол по лужам на полуосвященной площадке...

Нас уже не раз гнали со стадиона как дикую команду, даже из подтрибунных коридоров, где мы приспособились переодеваться, никому не мешая.

— Не спорьте, ничего не доказывайте, — утихомиривает Алик развозмущавшихся девчонок. — У нас тут нет никаких прав, мы аренду не платим. Но — ходили сюда, ходим и будем ходить. По-партизански!

— Надо было мне к армейцам податься, — досадует Федор. — Связался с этой хилой конторой. А у них такие шекльтончики!..

У нашего спортобщества история достаточно славная. На его счету есть памятные, дерзкие первовосхождения, но почти все они относятся к довоенному времени. То была пора начала массового альпинизма, с ее обилием непройденных дорог и неназванных пиков. Сейчас «белых пятен» практически не осталось и открытия могут сделать только новички. Для себя, потому что им (нам) все внове. Секция не приносит обществу медалей, успехами блистают москвичи и ленинградцы, словно им Тянь-Шань роднее, чем нам. Поэтому отношение к ней действительно плевое.

Но тренировок, это, извините, не касается. А Отец Феодор изобретательно сачкует на каждом упражнении, сокрушаясь, что утратил былую форму и уже не может подтянуться на одном пальце. И с горестным недоумением рассматривает этот свой замечательный пальчик. На него зачарованно уставилась одна из девчонок, То-

нечка, совсем не дурнушка, только наивная до невозможности. Но Алик без малейших признаков почтительности гонит Федора на двадцатый круг.

Темп очень высок. Я думал, что способен лететь пулей, стрелой, птицей в любую даль, а вот уже выдохся, подстреленно упал в пожухлую траву.

— Некоторые не понимают, что каратэ не вид спорта, а состояние духа,— неожиданно говорит Федя, плюхаясь рядом со мной.

Будь устойчив, как вбитый гвоздь, гибок, как леопард, поворачивай голову в сторону противника со скоростью обезьяны, подстерегай, как дракон, бей, как молния,— и исчезай, как дуновение ветра...

Напрасно я огорчил его тем, что читал где-то про эти заповеди каратэ. И про то, что надо в совершенстве владеть техникой мгновенного превращения движения в сокрушительную силу броска. Что прыжки и удары отрабатывают годами, пока ладонь не начнет заменять в некоторых случаях топор. Он сразу поднялся, мой друг, и скорбно потрусил по дорожке.

Эх, раз, еще раз... Чтобы однажды почувствовать вдруг, что можешь не только не отставать от молодняка, но и обставить кого-то на вираже. И, если понадобится в горных скитаниях, дойти «на зубах», но — дойти!

Мне снова стало сниться, что я летаю. Но не так, как в детстве. Тогда я обычно прыгивал с крыши, тяжело сталкиваясь с землей. А теперь разбегаюсь и, поджав ноги, мчусь над дорогой. Это не падение, а чистый полет.

Дома на мое добровольное самоистязание давно махнули рукой. И правильно сделали. Хомо альпинник — он такой. Ходит почти не четвереньках, имеет горб (в виде рюкзака) и отличается тягой к неразумным поступкам, стремясь туда, куда калачом не заманишь хомо сапиенса.

В логу Аюсай лежит камень с надписью «Здесь жес-

токо погиб хороший парень». Что значит «жестоко»? Если словил камень на голову или сорвался с обрыва, так это в порядке вещей. Будни отважных, издержки производства.

И со снегом шутки плохи. В Чертовом ущелье одиннадцать ребят попали под лавину, наобум подрезав безобидный с виду откос. Точнее, попали шестнадцать, но пятерых успели откопать живыми. Есть памятник в Каргалинке, на голом склоне, явно лавиноопасном даже на мой малопросвещенный взгляд. Вылезти на него можно было, лишь спускаясь с горы, в полнейшем отупении от усталости, или же геройствуя и выпендриваясь.

Все это еще ничего не значит. Самый опасный спорт — хождение по городским перекресткам, там гораздо больше шансов пострадать. Но мне хочется овладеть элементарными навыками горной техники. Чтобы ни один путь не оказался последним, а всегда еще много оставалось их впереди. Научиться пользоваться ледорубом. Говорят же, что он годится для выполнения 125 операций, в том числе почесывания спины... Но вот как тросточку его никогда не держат, это пижонство не прощается. И ложку он заменить не способен.

Нам удалось наконец собраться в Туюксу.

Поземка с комариным зудением обтекает валуны у площадки альпинграда. Съезжаю на спине и, резко перевернувшись, по хлопку инструктора в ладоши всаживаю клюв ледоруба в склон. Мы отрабатываем приемы самозадержания при срыве на снегу. Вот после чего неизбежно требуют заплат штаны!

Панорама — впору вывесить предупреждающий знак: «Осторожно, здесь захватывает дух!» Жаль, времени маловато. Сначала барахтаемся в сугробах, потом бежим вниз мимо плотины в Мынжилках.

Алик нас понимает, тоже вздыхает:

— Спешись вот так, пилишь по двенадцать часов

подряд, не поднимая головы, и разглядишь пройденные красоты лишь на снимках в отчете...

Но вздыхает он единственно для вентиляции легких, не дает задерживаться тем, кто поверил ему и расчувствовался. Мокрые спины и без того леденит ветром.

Мне, с моим дикарским прошлым, трудно будет примириться с этим. Не остановиться, не посмотреть на зимнюю радугу? Всеми цветами, особенно при взгляде сквозь темные очки, переливаются облака от стоящего за ними низкого солнца.

Густеет мгла,
И в этой мгле
Я появлюсь на скале:
Не зря зовусь я
Черным альпинистом!

Эту легенду я впервые услышал в Чимгане, на турбазе «Туркестан». У альпиниста пропала в горах подруга, он поныне ищет ее, бродит по ночам, поднимает пологи палаток и заглядывает девчонкам в лица.

В песне версия другая: он ищет того, кто предал, бросил его в беде, ищет отнюдь не для счастливых лобзаний. Федор поет заунывным голосом, драматически фальшивя, и только Тонечка пытается вторить ему.

Она делала зарядку в стороне от подруг гибкими танцующими движениями. Ее болоньевый комбинезон поблескивал, словно змеиная кожа.

Эта забавная курносая малышка недавно поразила меня проведенным ею лингвистическим изысканием. Она обнаружила поразительные созвучия в названиях мест, отстоящих одно от другого на полмира, возможно объяснимые родством языков и народов в правремена.

Вот гималайский ледопад Кумбу. Кумбу — Кумбель...

В Сагарматхе слышится славянское «се гороматка», то есть «это мать гор».

Тонечка захлебывается в чувствах, рассказывая об одних своих знакомых. Он разбился на сборах перед соревнованиями по скалолазанию. Ее похоронили через четыре месяца — она не перенесла разлуки.

Дружба, предательство, спасение... Горы возвращают этим понятиям первородный, порядком утраченный в обыденности смысл. Они — овеществленная гипербола. Их окаменевшее пламя зажигает души. Они достойны быть фоном сказки, в которой ты и режиссер, участник и зритель волшебного действия. Очень просто: надеваешь каску, забегаешь в сказку!

Скуден и сучен был бы мир без новичков, не расцвеченный свежим взглядом и первоощущениями. Вот бы сохранить навек такую особенность зрения!

Из нашего нынешнего словаря можно сложить увлекательную повесть. Из одних существительных. Поход, приключения, опасность. Ущелье, пропасть, бездна, пурга, лавина, камнепад — стихия! Тропа, перевал, стена, покорение, вершина, небо, звезды. Костер, гитара, песни...

В горах растет цветок смерти, кто его сорвет — умрет. Тоже легенда, и — полезная для экологии.

Нам с Федором есть от чего впасть в уныние. Группе назначено восхождение. Но я в нем не участвую. В последний момент обнаружилось, что медицинская справка у меня просрочена — всего на одни сутки! В списки меня не включили, выпачивание груди в подтверждение могучего здоровья ни к чему не привело. Никакому богатырю не справиться с инструкцией. Обидно, хоть на стенку лезь.

Мой «батюшка» тоже остался в стороне, но по другой причине. Он отказался сходить за водой к ручью, когда Тонечка попросила его об этом. Она так вилясь вокруг него: ну Федечка, ну лапочка... А он рвался в

правофланговые и не соглашался на подсобные роли. За этот выбрык Алик оставил его дежурным по базе.

— Всего-то «единичка», — напряженно-беспечными голосами говорили девчонки, выстраиваясь в цепочку перед отправлением наверх. И задирали головы к снегам...

Зачетные перевалы и вершину — ходили на Амангельды, — они одолели благополучно. С писком и трепыханием вспоминали, как врубались в лед, прыгали через сквозистые трещины. Во время одной из передышек пытались попить пепси-колы, а она замерзла и пришлось бутылочки разбивать, грызли и сосали пепси, как леденец.

На десерт к праздничному обеду было подано традиционное горное мороженое — майонез с солью. Моего друга тоже накормили этой несравненной гадостью. От остальной процедуры посвящения в альпинисты он предусмотрительно уклонился. А меня пощадили ввиду преклонных лет.

Обряд был впечатляющий, жестокий. На веранду домика каждого вынуждали залезать по веревке, пристегнув к ней карабином, чтобы не сбежал. Старшие товарищи стояли пообочь, торжественно пряча руки за спину. И, подкравшись сзади, от души лупцевали поднимавшихся. По пятой точке, связками реп-шнуров. На веранде новоиспеченных героев раскладывали на лопатки и прилепывали на лоб печать зеленкой с вырезанным на картофелине словом «годен».

Кто думал, что это финиш, тот ошибся. Всех поставили на колени и зачитали присягу, после каждого пункта которой следовало тоекратно орать: клянемся! Клянемся отныне целиком отдавать себя горам, обожать инструкторов, уступать дорогу только им, разрядникам и гужевому транспорту, делиться последней едой с идущим с тобой в связке (иначе он сам ее отберет)!

Оравшие недостаточно громко подвергались здоровой

критике и взбадривались реп-шнурами и галошами. Причащение завершало добровольно-принудительное целование ледоруба в знак верности горному товариществу.

— Хлебнешь теперь с вами,— умудренно провидел Алик.— Новичок ничего не знает и всего боится, «значок» ничего не знает и ничего не боится...

Остальным претендентам начальство запланировало дать шанс в следующие выходные. Я приготовил новую справку, в точнейшем соответствии с правилами, и Федор благословил меня крестьящим взмахом перста. Но метеослужба закрыла район из-за выпавшего накануне обильного снега...

— В гробу я видал эту снеговую обстановку!— разбушевался Федор, агитируя за поход во что бы то ни стало. Алик по-сержантски круто рыкнул, оборвал его.

Так что к Горе мы, вероятно, пробьемся только с третьей попытки. Если путь не преградит очередное «но».

Моим Эверестом остается Кумбель.

А завтра?..

На следующую тренировку Федор не пришел и вообще в секции больше не появился. Исчез, как дуновение ветра.

Горы пережили это без потрясения, по-прежнему упрямо и призывно разламывали горизонт их клинья, вбитые в небо.

КОРОЛЬ-ТАУ

1

Солнце еще не успело склониться к хребту, когда я понял, что мы не сможем больше сделать и шагу. Ноги заплетались, будто бы окованные кандалами, рюкзаки пригибали к земле. Остановка была неизбежна.

Отгудел заправленный гексаном примус. Гороховый суп с тушенкой получился не хуже, чем обычно в походе, удовлетворил бы любого гурмана. А мой Саня лежал, неудобно, мертвецки уткнувшись в пуховку, и не откликался на бодрый призыв к трапезе. Восемь часов гонки по безумным провалам и взлетам каменной пилы лишили его интереса к ужину. Так начинается горная болезнь. Очевидно, мы слишком резво набирали высоту, желая максимально сократить время на подходы к предвершинным башням.

Темп задавал Саня, попутно посвящая меня в сделанные им потрясающие открытия. Оказывается, эфиры триметиленгликоля можно синтезировать через бета-этоксипропионовый альдегид и его ацеталь, но, разумеется, с последующим гидрированием!.. Эта заумь отвлекала нас от намного более реалистических и уместных в данной обстановке мыслей. Знали мы оба, знали, что спешка ни к чему, да нетерпение подгоняло, и вот расплачивались теперь за неумное мальчишество.

Очень скоро до нас дошло, что палатку мы поставили на самом злом ветродуе. Ее раздирали резкие воздушные потоки, бьющие из ущелья. Эта ошибка настораживала, должна была насторожить: не теряем ли мы контроль над собой? Но уже не могло быть и речи о том, чтобы сниматься и устраиваться заново. В гудении напрягшегося авизента мы предпочли услышать даже нечто убаюкивающее, и сладок был обманчивый покой.

Этот западный гребень каторжно измотал нас. Неприятно все, кто направляются на Король-Тау, предпочитают подход с востока или из долины. Там легче, зато неинтереснее, тропы истоптаны, как скотопрогонный тракт.

Король-Тау величественно блистал перед нами. Казалось, протяни руку посмелее — и дотронешься пальцами до его двурогой макушки с короной белых облаков, надетой с царственной небрежностью, чуть-чуть набекрень. Горы вокруг были словно выстроены на архитектурном макете. Игрушечно уменьшившиеся в размере, они целиком обнимались взглядами и вызвали щемливое чувство, похожее на жалость.

В долине темнота наступила раньше. Мерцают какие-то огоньки, точно звезды, только внизу.

Начинала сбываться давнишняя наша мечта — положить на Король-Тау новый путь. Прошлый сезон Саня пропустил, занятый своей кандидатской, я впервые за последний десяток лет делал восхождение без него, «четверку» на Памире, довольно заурядную, имевшую смысл только для поддержания формы. А нынче он захотел обломать рога Королю. С диссертацией у него что-то не ладилось, и он жаждал взять у фортуны реванш на другом поприще.

Перед выходом на маршрут мы консультировались у деда Головина. Он подумал вначале, что мы зашли просто провести его, потянулся за кипой грамот и сувенирным барахлом, собираясь хвалиться былыми свершениями. Выслушав нас, он посуровел.

— Я за всю мою биографию не одолел только две вершины,— сказал он.— «Победу» пробовал дважды, и оба раза меня снимали на спасработы. И на Король-Тау не получилось.

— Почему?

— У нас были потери,— ответил он коротко, не поверив, что мы ничего не знаем об этом. Память о трагических ошибках живет подолгу, дольше их очевидцев и современников. Иногда это целиком определяет репутацию — но у Головина заслуги с лихвой перекрывают его случайный промах.

Документов похода у него не сохранилось, их изъяли при расследовании несчастного случая. Однако разговор все же оказался полезным. Первую башню надо траверсировать слева, за ней будет пятачок, пригодный для ночевки. На дальней башне придется попытеть дня три. В центральном кулуаре опасный висячий ледничок, с ним (Головин запнулся) лучше не связываться.

Деду 70 лет. Тощий и ходкий, как велосипед, он каждое утро делает пробежку на стадионе и купается в открытом бассейне. Гигант, конечно,— до сих пор летом работает инструктором на турбазе, водит плановые группы! Дело несложное, но и его не каждому в таком возрасте доверят. А кто бросает горы, постарев, тот никогда не любил их.

Зимой 1942-го он участвовал в первовосхождении на безымянный четырехтысячник в Алатау. Незадолго перед тем знаменитые двадцать восемь гвардейцев совершили свой подвиг у разьезда Дубосеково под Москвой,

и пик решили назвать в их честь. Шли в метель, со скверным снаряжением: спальники из овчины, теплые, но тяжелые, а самодельные «кошки» подвязывали к валенкам. Но это был их бой, в котором тоже нельзя было отступить...

Недавно мы занесли на вершину Панфиловцев мемориальную доску из нержавеющей стали. И замуровали в гранит гильзу артиллерийского снаряда с письмом к тем, кто повторит наш путь в дни 50-летия Победы. Руководителем группы был Головин, как автор идеи и живой символ.

Поколебавшись, он сделал широкий жест: вручил нам свой ледоруб. Непохожий на современные, с гораздо более длинным древком, он показался мне удобным, понадобилось только темляк сменить — его кожа иссохла и потрескалась.

8

Гребень оказался труднее, чем мы предполагали. Его зубчатка при визуальном знакомстве выглядела более проходимой... И дед не предупредил, видимо, пройденное полтора десятка лет назад выветрилось из его памяти.

Парень из его группы погиб на леднике, белой заплатой прилепившемся к почти отвесному склону. Боковой скальный контрфорс, конечно, надежнее. Но и там наверняка встретятся наледи, предстоит большая рубка ступеней. Только бы хватило крючьев. И Саня — когда он акклиматизируется? Помочь ему нечем, остается лишь ждать.

О своей научной работе Саня все чаще отзывается скептически. Она его иссушает, скоро за валидол начнет хвататься. Горы — это проще. Тут рассчитываешь сам на себя и немножко на удачу. А там... Конкретных результатов эксперимента приходится ждать годами. Его шеф требует безупречной тщательности и бракует

статьи, выискивая в них все новые и новые шероховатости. А современные приборы у него вечно перехватывают соседние лаборатории. Вскоре он может уйти на пенсию, тогда Сашину тему вообще закроют. Только в горах мой друг чувствует себя человеком. Он откровенно хипшует здесь, в отместку за глаженные брюки и галстук, без которых не обойтись в институте....

Наутро Саша выглядел нештохо. Свернул палатку, мы опять впряглись в рюкзаки. Постояли, попрыгали, встряхиваясь, чтобы ляжки удобнее прилетели к плечам. Я взялся было за фотоаппарат — и опустил его, сам не поняв, что же такое помешало мне нажать на спуск. Вид у Саши был импозантный, достойный увековечения. Но... стоит ли дразнить судьбу? Она этого не любит. У Саши старший брат не вернулся с пика Коммунизма. Кто-то сделал его последний портрет: брат стоит на морене ледника Вальтера. Приподняв очки, он смотрит ввысь, как бы с задором и с уверенностью в победе. А потом, когда его не стало, отчетливо проступило тревожное что-то в его взгляде, будто бы предчувствие и прощание.

4

Бессознательное, труднообъяснимое стремление туда, где горизонт в зените, наверх, заложено в наших генах. Забрался пацаненок на табуретку и — готово: «Я выше всех!» Дети — вечные новички, вечные первопроходцы. Но и у взрослых остается потребность что-то испытать или доказать, во что-то поверить.

Про детей — это не просто к слову. Я с ними довольно-таки активно общаюсь как член родительского комитета, отвечающий за оздоровительную работу в шестом «Б». Наши походы пользуются популярностью. Уже сколотилось ядро из интересных ребят. Есть у них в голове стрелка, наметничено показывающая в одну сторону, — только не к северу, а наверх. Недавно лазили на сопку Кок-Шокы.

— Вы там уже бывали?— спрашивают меня юные покорители высот и пространств.

— Два с половиной раза.

— Почему «с половиной»?

В третий раз я не дошел до цели метров двести. Дело было в марте. С утра наст держал, как асфальт, а к обеду я стал проваливаться. Сначала по колени, потом по грудь, так как снег превратился в манную кашу. Пришлось вернуться.

Блеснувшая в их взглядах ирония требовала ответа.

— Между прочим, лучшую часть мужества составляет осторожность.

— Это вы сказали?

— Нет. Это Наполеон.

Но и такой авторитет оказался моим орликам ни о чем. Их запросы растут, причем непомерно. Шестеро самых нахальных, никого не спросив, решили наведаться на Каргалинку — высотой всего четыре километра. За один день, выехав довольно поздно в воскресенье. Такое под силу только хорошим ходокам, закаленным бойцам. Конечно же, они в лучшем случае добрались бы до верхней границы лесного пояса. Обездчики, к счастью, завернули их еще на кордоне: стоял пожароопасный период и горы закрыли. Теперь я по воскресеньям устраиваю телефонную переключку, проверяя, все на месте или опять отправились в самоволку.

Провожая меня на свидание с Королем, они натащили кучу съестных припасов, главным образом рыбных консервов, вывалили на стол чуть не весь Атлантический океан. И не скрывали, что любой из них готов составить мне отличную компанию...

5

Высокогорье — особый, затерянный в вечности мир. Природа в нем не изуродована и даже не подправлена

человеком, живет в первобытном хаосе и естестве.

На свете нет ничего превыше гор!

Они делают нас немного сумасшедшими, их эйфория не дает остановиться. Всегдашняя загадка, нескончаемый зов: что вон за тем поворотом? Ведь ведет туда — куда-то — отчетливая тропа. И пренебречь ею, возможно, означает обеднить себя невосполнимо (хотя порой там и не встретишь ничего, кроме коровьих лепешек).

Для характеристики человека мне достаточно двух слов о нем: «любит горы». Я уже буду знать, о чем и как с ним говорить. Удивителен — и понятен мне балкарец, отметивший свое столетие на вершине Эльбруса. И бабка, полмесяца шустро шагавшая по высотам не ниже трех тысяч, питаюсь только медом и орехами. И ребяташки, с одним бутербродом в кармане отправляющиеся штурмовать снеговую верхотуру.

Мой идеал — не феноменальный Месснер, дважды покоривший Эверест без кислородного аппарата, и не Наоми Уэмура, в одиночку взявший высочайшие точки каждого континента планеты. Экспедиция на Килиманджаро встретила спускавшегося домой местного жителя-африканца. Без какого бы то ни было снаряжения и обеспечения, босой, он ходил помолиться своим богам. Захотел пообщаться с верховными существами накоротке — и поднялся к ним. Не ради спортивных рекордов, а потому что душа позвала.

Не довелось мне участвовать в чемпионских восхождениях, не был знаком со знаменитым Хергиани и не дружил с Онищенко или Голодовым. На моем счету нет ни одной Рораймы. Кстати, высота Рораймы всего 2772 метра, но какая там уникальная стена! И в гималайскую сборную не попал, меня не глядя отсеяли на первом же этапе отбора. Что-то свербит в душе из-за этого, но не сильно. Главное — я поднимался к горизонту, отпечаток моих вибравов заразит любопытством еще кого-то... и, в конечном счете, не обманет.

Вот и снова склон прострочен следами, как автоматной очередью. К обеду нужно добраться до скалы и начать ее обработку, навесить хотя бы пару веревок. Саня отстаёт, у него запотевают очки.

Мы не страдаем чрезмерным честолюбием. А все же хочется, что там ни говори, оставить свой след в альпинизме. Хотя бы один достойный эпизод должен принадлежать нам персонально. Не соверши Абалаков ничего, кроме первопокорения пика Коммунизма, он все равно вошел бы в историю. Сделать бы и нам что-то, попроще, но свое. Без низкопоклонства перед заоблачными высотами! Такая цель стоит и трудов, и риска. Может быть, именно риск осмысляет жизнь, высвечивая ее неожиданным пронзительным лучом.

Старая скала изобиловала трещинами. На ней было за что зацепиться, на зато после каждого удара молотком вниз щедро летели обломки, а над головой зловеще потрескивало. Мы отклонились влево, как советовал Головин. Дед не ошибся: узкая, но устойчивая полочка наискосок выводила почти к самой межбашенной перемычке.

Что-то копается Саня, слишком часто повисает на веревке. Здесь не предвидится отдыха, отдых впереди. Еще немного, еще чуть-чуть... А ноги предательски скользят по стеклянной глади гранита. Холод проникает под пуховку, словно тебя ощупывает кто-то стылыми руками. Срываться нельзя, до низу одни уши доедут.

Санины подошвы маятником взлетают кверху — он перевалился за последний карниз.

Площадка нашлась, но такая крохотная, что некуда было поставить не только палатку, но и примус, держали его на коленях. Разносолов не готовили, обошлись чаем с шоколадкой. Сели спиной к спине, провели всю

ночь в беспокойном оцепенении, которое лишь с огромной натяжкой можно было назвать сном. Это ничего, бывает и хуже. Только Санино хриплое дыхание раздражало.

7

У ледника при ближайшем рассмотрении оказался еще один язык. Король высунул его, поддразнивая нас хулигански нагло и отвратительно. Раньше его, похоже, не существовало. Горы кажутся незыблемо постоянными, а на самом деле они живые и год от года меняются, несокрушимые — и уязвимые, простые — и непознаваемые.

Доходящий до перемычки новый язык перекрывал выход на контрфорс. Обойти его было невозможно. Метров сорок адского нагромождения обломков... Фортуна шутит без выходных.

Обзор досадно сокращали облака, оседавшие, судя по всему, надолго. Вслепую пройдя перемычку, мы наткнулись на первые зеленоватые глыбы. Головинский ледоруб высекал из них осколки, похожие на искры.

Все ведущие вперед щели были наглухо заткнуты ледяными пробками. Немилостив Король к своим верноподданным! Он по-своему прав, не каждого желающего впуская в фамильный замок. Укрепился он основательно, прочно, лихим приступом не возьмешь, нужна длительная и тщательная осада. Обязательно расскажу об этом своим ребятишкам. Мы должны прийти сюда вместе!

— В жизни смысла мало, в смерти его нет совсем, — вяло пробормотал Саня, прислонившись к ребристой натеку льда и сползая по нему.

О чем он? О своей бесценной химии эфиров, которую понимают всего два человека в его институте — он сам и

его шеф, с которым не больно-то двинешь науку вперед? О невозможности разорвать замкнутый круг бытия с его неожиданными и коварными тупиками?

Мало ли какая дребедень лезет в голову в такие минуты! Но если он ударился в гнилую философию — значит, дело плохо, очень плохо. Такого с ним в горах еще не бывало.

Я вдруг понял, что он готов отступить, хотя никогда не признается в этом. Что ж, пусть, черт возьми, но — не так, не так, а лишь оправдав себя всецело! Если он сдастся без уважительной причины, это навсегда останется в его душе. И тогда — прощайся с горами. Страх отнимет веру в себя, обессилит, остановит, перечеркывая и опыт и упования.

Он много раз выручал меня, мой верный Санчо. Двое суток, бросив рюкзак и ни в чем не упрекая, сводил меня с Карагема к ближайшему поселку, когда я подвернул на маршруте ногу. Теперь очередь была за мной. Либо я тоже откажусь от Короля, либо потеряю Саню. Его не убедят ссылки на погоду и усталость, на то, что в этом тумане мы даже не можем достоверно оценить обстановку. Несмотря на тысячу доводов, он до конца будет рваться напролом, желая хотя бы здесь ощутить вкус победы. До конца, который, похоже, не так уж далек. Если бы я был в силах каламбурить, то сказал бы, что он не за горами.

Горная болезнь почти сразу проходит, если спуститься на километр-полтора. Что-то надо придумать, но — что?

Через полчаса, с озабоченным видом проверяя укладку рюкзака, я уронил баллон с гексаном. Саня среагировать не успел, как он кувырнулся и почти беззвучно исчез в белесой, лишенной теней глубине.

Потеря горячего бесспорно лишила штурм всякой надежды на успех. Хорошенько выругав меня, Саня с чистой совестью согласился повернуть назад.

ГОРНЫЙ БАЛ

Костя приехал ради гор, щедро даря им неделю из отпуска перед заступлением на службу. Заявился в красивой черной форме с якорями и одновременно с крылышками на эмблемах,— его направляют в морскую авиацию.

Накануне Тамарка прислала письмо. «У меня все по-прежнему. Сижу, сижу, вот-вот взвою и перебыю все горшки. Впрочем, не буду расписывать настроения — зачем навевать на вас тоску?.. Уже несколько раз меня сватали за немолодых разведенных граждан. Однако через час знакомства с ними меня охватывал тихий ужас от разочарования. Ничего, скоро Костя внуками утешит. Он, по-моему, остается прежним несмысленным. Опять просится на Алатау, почему-то страшно хочет прикоснуться к вечным льдам...»

Я знаю его, сына старых друзей нашей семьи, ровно столько времени, сколько ему лет. Он — офицер, и школа, и штурманское училище у него позади. Незаметно вырос парень, раздался в плечах так, что две звездочки на них выглядят совсем крохотными. Будущий, чем черт не шутит, полководец. А что? Один мой бывший одноклассник сейчас командует полком и, похоже, вскоре получит генеральские погоны...

В мальчишках Костя был покладистый, излишне

усидчивый и обидчивый — Тамарка всегда корила себя за издержки женского воспитания. Нельзя мужчине без нахрапистости, без острых локтей и луженой глотки, затрут в житейской толкотне. И успокоилась, узнав о его решении стать военным. В армии любая изнеженность проходит как сон, как утренний туман.

Впрочем, успокоилась — не то слово. Тысячу раз спрашивала: почему он выбрал авиацию? Как будто нет других специальностей, тоже серьезных и нужных, но поспокойнее!

— Я постараюсь летать пониже! — развеивал он ее опасения, принимая простоватый вид. И с неожиданной неуступчивостью отстоял сделанный выбор. Хотя на первом году учебы сам еще сомневался, получится или не получится, не сживался со строгой дисциплиной, с надоедлыми маршировками. Лишь когда начались полеты, вошел во вкус. Это не ать-два левой, это небо!..

Служить он скорее всего будет оператором на ракетноносцах, но может попасть и на вертолеты, штурманы везде нужны. Главное, курс в жизни проложил твердый.

Я понимаю Тамарку. Тоже из транспортных средств предпочитаю поезд, в нем к земле ближе. Это не страх, а естественное недоверие к пустоте: она изначально чужда человеку, не каждому дано сродниться с ней.

— Как там, лётный, сверху кривизну земли видать?

— Есть маленько, — улыбается Костя, похоже не впервые отвечая на этот вопрос.

Курсантом он уже гостил у нас, приезжая из небольшого уральского города, и мы ходили с ним на ближнюю горушку, очертаниями напоминающую Эльбрус. Козелком скакал на тягучем подъеме, я отставал от него почти без досады: мне все-таки было не двадцать годиков.

— Во дебрь, во джунгля! — по-детски ликовал он в густом арчевнике, раздирая сплетения ветвей.

Налетел снежный заряд, Костины следы мгновенно заметало. Не позволяя ему отрываться от меня, я остужал его пыл. Он останавливался, ждал — и снова убегал нетерпеливо, и снова его закрывала белая мгла.

Оглянувшись вниз, он сам удивился, что мы дали такого отменного кругая. Горушка терялась в облаках, и высота ее поэтому казалась нескончаемой...

Теперь он прибыл для дальнейшего прохождения вершин и заказывал настоящий горный бал. Программу определял я, как старший по званию. Он без возражений — разговорчики в строю! — согласился на два перевала, 2200 и 2999 метров. Если бы летом, рискнули бы на большее, силенок у него хватает, да и я еще не совсем сдал.

Все мои куртки оказались Косте малы. Он натянул меховую безрукавку поверх двух свитеров, утратив офицерскую щеголеватость: ни один комендантский патруль не опознает!

Первый перевал мы взяли, не встретив помех. Обыденно залезли, спустились, хотя у седловины досталось и ветра, и снега в лицо. Упустили последний автобус у санатория «Арасан», долго чапали по асфальту, названивали домой с милицейского поста на противоселевой плотине, предупреждая о задержке. А вечные льды... Что ему в них? Но магия гор уже всецело владела им. Будто кроется в разломах скал неслыханная тайна, способная потрясти, а может быть, спасти человечество.

О нашей вылазке он отозвался сдержанно, однако все же, отдавая дань субординации, выжал из себя несколько слов похвалы.

— Ну ладно, ладно, это для разминки, — успокоил я его.

— Так точно, товарищ капитан запаса, — откликнулся он с оптимизмом.

О своей учебе он рассказывал мало. Занятия как

занятия. Больше озабочивался тем, что за летняя часть ждет его, повезет ли с командирами.

Он заинтересовался, в каких войсках служил я. В ракетных, стратегических, на затерянной в лесах «точке». Теперь по прошествии немалого времени, это не секрет. Техникой нашей мы когда-то гордились, ее даже на парадах показывали, провозя по Красной площади круглоголовые махины, а нынче уже сняли с вооружения. Жизнь была простая, не парадная. Подъем — отбой, тугие задвижки на заправочном устройстве, до дембеля остался месяц... Но не стираются из памяти давние и по-своему, теперь-то это понятно, замечательные будни.

...Тревогу сыграли на рассвете.

Топот сапог по коридору, звяканье автоматов, схваченных на бегу, противогазные сумки, приглушенные яростные команды в маскировочной полутьме...

Восток медленно, с трудом розовел.

Среди сосен полыхнуло, гром разорвал тишину. Огнем фосфористо черкнуло по низкому небу.

Еще одна учебная стрельба.

Мы аккуратно поразили цель. Хотя сейчас и не обязательно попадать в нее, словно камнем в окно. Ахнет — по всему свету отзовется. Но все же нужно уметь попадать. Чтоб жила земля без губительного огня...

Мы долго огибали массив Кошту. Он весь блестел, закованный в корочку льда, как бы в полиэтиленовую пленку приготовленный кому-то подарок. А предмет Костиной мечты ждал нас в глубине сумрачных громад, на самом краешке северного Тянь-Шаня, у Кривого перевала.

Все вышло гораздо сложнее, чем думалось, — в этой непредвиденности беда и прелесть хождений по горам.

Снегу оказалось столько, что по нему приходилось почти плыть, утопая в нем. Где-то в его недрах тек ручей. Мы следовали вдоль него, слышного то явственнее,

то глуше, как за поводырем. Его звучание могло бы показаться перезвоном колокольчиков. В более нормальных обстоятельствах мы не отказали бы себе в удовольствии изобразить из себя меломанов. Снег искрился мириадами кристаллов. Глаза б мои не смотрели на эту красивую — и подлую субстанцию, сыпучую, лишенную определенности. На нее невозможно опереться, она засасывает, как трясина.

Если так будет и дальше, то лучше вернуться. Я понимал это, но... Что вспомнилось бы потом? О чем бы Костя рассказывал товарищам? Мне-то, в общем, все равно, хожено-перехожено, видано-перевидано. А ему нужен единственный вариант: пошли и, несмотря на трудности, дошли!!!

У них был преподаватель, который в войну один вступил в бой на своем истребителе против семерых, двоих сбил и вернулся лишь слегка поцарапанный. Очень своевременно привел Костя этот достойный пример. И даже заважничал слегка. Но с интересом слушал мой рассказ о действовавшей когда-то в наших местах военной альпшколе. Отсюда вышли сотни горных стрелков, они хорошо показали себя на кавказских и европейских кручах.

— Та-та-та! — застрочил Костя из автомата, укрываясь за сугробом от встречных очередей.

Вот балбес!

На морене стало полегче. Правда, пересекать ее всегда опасно. Она похожа на минное поле. Камни коварно припорошены снежком, и каждый из них может оказаться капканом, ловушкой. Скачешь по ним как воробушек, а если загремишь, то не успеешь и чирикнуть.

— Пройдем еще немного, там решим, как быть, — озабоченно сказал я Косте, не глядя на него, не совращая поддаться слабости.

И прошли столько, что возвращаться стало бессмыс-

ленно. Вон он, ледник, уродливой нашлепкой застыл в распадке. Едва ли он способен произвести незабываемое впечатление. Невзрачен, сер, лишь на изломах трещин поблескивает изысканной голубизной. Мы прикоснемся к нему только взглядом, не более того. Иначе выдохнемся на нагромождениях валунов, а у нас еще полпути впереди.

Здесь чувствуешь себя как в тисках, недовернутых, еще не раздавливающих, но готовых раздавить, расплющить, смять. А ты, слабый, ничем не защищенный в своей брэнной оболочке, бросил вызов, молча принятый горами, попираешь их — и сродняешься с ними. Это не бой, это честное состязание, и пусть победит дружба!

Мы терзаем себя неудобом, ищем преграды, теша себя одолением их. Будто репетируем грядущие испытания. Например, мы потерпели аварию в полете и, оказавшись в глухой ненаселенной местности, на пределе сил выбираемся к людям... Другой сюжет: нас, принадлежащих солдатскому долгу, срочный приказ гонит в мертвящий каменный космос... Простые действия при этом наполняются значением — и безо лжи!

В узкой, как бы ударом наотмашь прорубленной щели нашего Сен-Готарда ветер свистел так, словно мы вылезли на крыло самолета. Он выталкивал, не пускал нас, валил с ног мягким и властным напором. Вползли мы, без преувеличения, на карачках. Но лейтенант поднялся, сначала на колени, потом в полный рост, и о чем-то кричал мне, счастливо размахивая руками. Оказывается, он докладывал, что головой высовывается за 3000 метров!

Из щели Костя наобум, не ожидая команды, помчался вниз, но я решительно потянул его вбок, на бурые плешины Кошту. В скальные желоба нынче лезть — все равно что тигра за усы дергать: опасности много, удовольствия мало.

Наверное, это и спасло нас. Слева, с кручи, рванула—

и ударилась в то место, где могли оказаться мы, короткая жестокая лавина. Бомбочками ахнули несколько захваченных ею камней, за клубилась белая пыль. Впечатление было такое, что студенисто колыхнулась вся гора.

Сход был неожиданным, поскольку время стояло нелавинное: едва лег первый снег, а он хорошо зацепляется за камни. Потом он уплотняется, проходят бураны, и ближе к весне верхние слои начинают соскальзывать с нижних. Как по стеклу или мылу. Достаточно будет крика, зычного чиха, чтобы на тебя посыпалось. Однажды я видел, как обвал вызвала сорока, на лету скребнувшая хвостом по склону. А тут всего лишь ноябрь — и лавина... Ну, да не промахнулся, заранее вычислил ее! А то бы Родина лишилась сразу двух верных защитников. Тамарка мне бы не простила, Костя для нее последняя опора в ее одинокости.

Кривое ущелье нам требовалось пройти непременно засветло.

— Моли бога, чтоб тропа была, — сказал я Косте.

Должно быть, он молил недостаточно убедительно или же всевышний не внял просьбам атеиста. Тропы не оказалось. Ее напрочь занесло, зализало.

Я шел по Кривому третий раз. Впервые спускался летом, затем зимой по тропе, тоже без проблем, успевая только ноги под себя подставлять. Сейчас перед нами лежала целина. Вспашка ее давалась ценой лошадиных усилий. Сознание отключается, не хочется ни есть, ни пить, идем как заведенные. Грудь едва справляется с ураганной продувкой легких. Небольшой привал мы могли позволить себе только в Стране Дураков.

Она открылась, как всегда, внезапно. Посредине грушеобразного расширения Кривого когда-то сладила себе избушку старательская артель. Мужикам, рассказывают, подфартило. Напали на россыпь и намыли за сезон пуда три хорошего песку. Артельный старшина

сбежал с добытком, его догнали и убили, но золота при нем не оказалось. И намыть ничего больше не удалось.

— Куда ж он его девал? Вы не искали?— встрепенулся недоверчиво слушавший меня Костя.

Я засмеялся над его младенчески непосредственным порывом. Охотников до легкого богатства тут небось и без меня перебивало! Каждую расщелину, каждый приметный камушек облазили, ощупали, обнюхали. Если золотишко действительно до сих пор не нашли, то похититель был не глуп. Знал, что слишком явные места для тайника не годятся.

Страной Дураков урочище назвали в память обманутых надежд. А мы ходим сюда иных сокровищ ради. Горы сами по себе чего-то стоят!

Здесь думаешь о чудовищных катаклизмах, изломавших земную кору, о ничтожестве, величии, о вечных льдах и вечных истинах. Тот, кто привязался к ним всем сердцем, не отдаст их никому. Тот будет знать, что же он защищает, если однажды тупорылый бомбардировщик поднимется с бетонки на боевое, а не учебное задание.

Я подхватываю камень и забрасываю его выше по склону, с которого он скатился когда-то. Чтобы хоть на миллисекунду замедлить разрушение гор природой и временем. Чтобы завтра — и всегда! — тоже кто-нибудь мог прийти, удивиться им, напиться ими душой.

Тайны, хранимые скалами, не просто бред молодой головы. На стене Кошту выше перевала есть древние рисунки. На схеме звездного неба изображен Юпитер с кольцом вокруг него. Но, во-первых, кольцо невозможно разглядеть невооруженным глазом, во-вторых, оно всегда повернуто ребром к Земле. Как художник узнал о нем?

Глубоко сокрыты не только следы алчности, но и неизмеримой мудрости тоже...

Приют оказался полуразобраным. Верхние бревна,

видать, недавно растащили на костры, из баловства, а не от великой нужды, нижние венцы погребены в сугробе. Не бывает ничего грустнее разрушенного жилья... Мы потоптались обескураженно и решили не останавливаться, потому что быстро темнело.

Вскоре я совсем потерял направление бывлой тропы. Осознав это, без колебаний ушел со склона в низ Кривого. Там безопаснее — падать некуда, — но комфортно и не пахнет. Уже то, что Костя уступил мне право пробиваться первым (правда, забрав у меня рюкзак), говорило само за себя. Забурились, вот о чем то говорило.

Штурман вконец измотался.

— Скоро?

— Потерпи, метров пятьсот осталось.

Через километр:

— Еще метров двести...

Столько и было на самом деле, если считать по прямой. Но проклятое Кривое отклонялось и отклонялось в сторону, примыкая к главному ущелью под пологим углом.

Что-то произошло вокруг — или внутри меня? О, это был чудесный транс! Я был как бы не я, порхал, парил сам над собой, может быть от обезвоженности организма, когда теряешь вес и легче несешь себя. Душа оторвалась и воспарила, из дальних сфер наблюдая, как тело без чувств и без усталости ломится вперед, по пояс в сухом белом месиве. Поменялись местами пространство и время, свитые в незримую, но реальную спираль...

Вероятно, и Костя испытывал нечто подобное, вертел головой, неизвестно куда стремясь заглянуть. Голос его срывался.

— Я много летал... это чувство удивительно, но горы...

Он оглянулся назад — и вздрогнул, не договорив.

— Смотрите!

Над сумеречными снегами пылал Кошту. Его вер-хушку еще освещало солнце, она искрилась, плавилась и постепенно тускнела, как остывающий слиток.

Мы нашли здесь свое золото!

Из Кривого мы выплыли как привидения. После минутного отдыха перестали болтаться в невесомости, ощутили землю под ногами. Захолодили обмерзшие штанины. Сверлит уши пронзительная тишина.

Завтра кто-нибудь увидит по следам, откуда мы вы-валились на дорогу, торпедами пропоров последний сугроб, и справедливо назовет нас придурками.

И все-таки и даже тем более — память о Тянь-Ша-не у гостя останется. А значит, бал удался!

СОВЕТЫ ГРИБНИКАМ

Внезапный короткий ливень хлестнул по дороге. От асфальта, будто его окатили кипятком, поднимается пар. И прохладой не повеяло, напротив, усилилась духота. Поддает погода жару. Ночь после тягучего дневного пекла ненадолго приносит облегчение. Перед грозой пахнет так, словно где-то рядом вынимают хлеб из русской печи.

Лучше бы дождь прошел среди недели, а не в субботу. Как раз успели бы нарасти грибы...

Автобусу до Милозана около часа ходу. Пассажиров, как всегда в эту раннеосеннюю пору, в него набилось до предела, двери перестали открываться. Но вскоре в салоне утряслось, даже нашлось где встать на обе ноги, а не находиться в полуподвешенном состоянии.

Песчаный проселок пролег меж бугров с успевшей зажелтеть травой, после городской глади прилично потряхивало. Автобус, будто комета, волочил за собой огромный пылевой хвост. Стоящее на краю соснового бора село встретило особенно явственным и желанным покоем.

Редкостное это место, Милозан. Улучки желобами косо и круто сходят вниз, туда, где речка безустально катит мутные струи. Вода, видать по всему, многократно меняла русло, и вдоль старых ее путей успели подняться

сосны, закурчавился кустарник, оплетенный тонкими лианами ломоноса. Распадки сплошь заросли мелкоцветной, отменно душистой малиной. Комаров не бывает, потому что нет стоячей воды, она здесь гремучая, как железнодорожный экспресс. Своеобразный благословенный оазис на стыке голых равнин и предгорий!

Одна беда — нужно опасаться травы-жгучки. В отличие от крапивы она жалит исподтишка. Прикосновения к ней не замечаешь, а к следующему дню на теле появляются ожоговые волдыри, после которых долго не сходят темные пятна.

Конечно, выехать следовало пораньше, как подобает уважающему себя грибнику. Чтобы не досадовать, спотыкаясь о пеньки обезглавленных за полчаса до твоего прихода подберезовиков и прочей лесной прелести. Есть такая песня: в жизни много красот для тех, кто рано встает... А я отправился в восемь сорок, выспавшись. Страсть невелика? Или это просто неспешность обычного «безлошадного» городского жителя, не имеющего даже мотороллера, чтобы укатить на менее хоженные, нетроганные места? Есть свой глубинный смысл в том, чтобы добраться до цели не торопясь, налегке, пешочком. На душе как-то легче и чище.

Белые степные грибы ныне опять ускользнули от меня, как мираж, уже который год подряд. Они эндемики, местная диковинка. Появляются на очень короткий срок в мае, в несчетном, по словам очевидцев, количестве, и бесследно исчезают. Одну вылазку я делал, но — преждевременно, впустую, а потом дела не отпускали. Синюшки в пригородных садах ухватить успел, но их никогда не бывает помногу и вкус у них так себе. К сморчкам я тем более отношусь без восторга. Недаром назвать кого-нибудь сморчком означает обругать весьма оскорбительно. Дитя сырости, мрака, с рождения сморщенное, ломкое, ни стройности в нем, ни блеска, ни кулинарных достоинств.

Оставалось надеяться на Милозан. Уж если он подведет, совсем пиши пропало. Но лето выдалось отличное, в меру одарив и дождями, и теплом, оправдывало самые смелые надежды.

Верные люди дали мне совет: пройти километров семь по верхней, уводящий к Сухому хребту дороге. Я не то чтобы не прислушался к этому наказу, просто, едва войдя в лес, замедлил шаг, потом вовсе забыл о заданном направлении и расстоянии. Масленок остановил, сманил, закружил голову.

Ехал я именно за ним, ища грибы между грибами. Их нынче—хоть косой коси. Десяток сшибешь, швырнув палку наугад. Несут и везут их, кому только не лень, а их не убавляется, точно ложкой из моря черпаешь. Такого и старожилы не припомнят. Бабки качают головами и крестятся: не к добру примета, не к миру!.. Идешь по молоденьким, неразвернувшимся, с дремной пленкой маслятам, буквально давя их. Сами под ноги лезут. А ведь указанного мне места не достиг! Да и адрес был ненадежный, приблизительный, таких я сам дать могу десяток.

Встречались полянки, на которых в глазах рябило от желтизны волглых моховиков. Про валуя и говорить нечего, я начал подумывать, что именно от него происходит слово «навалом». Его считают собачьим и презируют, ни одного не коснется обрадованный взгляд. Он, конечно, не царь грибов, однако молодой, с тугой, завернутой к ножке шляпкой, к тому же умело замаринованный, мало какому уступает. Неприхотлив до невероятности, могучими семьями вырастает даже в засушливые годы. У меня признательность к нему с того сентябрьского дня, когда я, прошатавшись без толку, напал на колонию валуя. Раскопал кучу хвороста в овражке, а там!.. Он тогда избавил меня от ощущения неудачливости, не очень приятного. Но сегодня и я чванился, не кланялся ему. А он потаенен совсем как рыжик и

так же вздымает, обещающе бурит хвою, разочаровывая затем.

Многие люди будто бы рождаются грибниками. Счастливо сочетается в их занятии поэтичность и практицизм. Не всякий двинется за семь верст любоваться золотом листвы, сокровенными моментами рождения нового дня. Но и утверждать, что жаждут лесных даров лишь для консервирования, тоже несправедливо. Не учтено будет волнение, с которым опускаешься на колени у блеснувшей шляпки и задерживаешь дыхание. Тут все сливается в чувство, которому нет подходящих аналогов.

Грибник — человек особый. Он отличается от альпинистов и туристов и от горнолыжников — у тех отношение к природе другое, как ни странно, более потребительское. Они реже остаются наедине с природой и не столь внимательны к ней, больше озабоченные собой.

Грибнику острее больны плешины на местах пожаров. Это ему личный урон. Страшен огонь в лесу. Мчится пал, стеля желтый дым. Мгновенно вспыхивает сухая хвоя, столетние сосны занимаются пламенем, словно облитые керосином. Потом долго стоит печной запах гари. Однажды я часа два тушил, затапывал тлеющую траву, задыхаясь от жара и копоти. Оставила свой след на земле развеселая компания, которая укатила на встретившемся мне грузовичке.

Небо заволакивалось облаками. Но трое милозанских мужиков продолжали косить сено в лощине. А раз так, значит, дождя не будет!

Сорока прицепилась, орет и орет над головой. Перескакивает с дерева на дерево, упорно сопровождая меня и предупреждая кого-то о приходе чужака.

Белка, видимо пуганая, взлетела по высоченному стволу, было слышно, как ее хвост рассекает воздух.

Серая змея отползла в сторону и замерла, глядя вполоборота, часто щелкая язычком. Не убережешь ты,

красавица, здешние сокровища, уходи подобру-поздорову!

Недавно случилась со мной странная история. Забрел на какую-то темную поляну, а выйти смог не сразу. Кругом стеной стояла жгучка. Я мог бы поклясться, что минуту назад ее не было, но теперь она взяла меня в грозное кольцо. Таинственный страж с отравленным оружием, она тщи́лась защитить лес. Но я же не враг, лишнего вреда никогда не причиню, это проверено и доказано! И вдруг между кустами блеснул спасительный просвет...

Первыми нынче, как и положено, пошли шампиньоны.

В начале июля я отыскал их десятка полтора по «короткошерстной», с низкой травой луговине у Милозанки. Издали они походили на клочья коры, слетевшие с березы. Местные жители ими пренебрегают, считают погаными, а горожанам они всегда в радость. Грянула собирательская страда.

При возвращении с шампиньонами километра за три до села подхватил меня на мотоцикле лейтенант-летчик, угадав усталого человека. На ходу, почти на лету, мы разговорились. Он в отпуске, искал землянику сынишке и не нашел. А я ее встречал довольно много. Лейтенант заоборачивался, вихляя рулем: где? У петли, которую делает дорога за большими серыми камнями... От села он повернул назад.

Извечная проблема места, на котором попасешься вдосталь, насладишься досыта...

Однажды за Милозанкой довелось мне в скудный, неурожайный сезон обогнать старика со старухой, запасшихся неким подобием корыта впечатляющего размера. Позабавили они меня. Мой случайный попутчик проводил их скептическим взглядом. Он тоже лесная душа: часу не поспал после ночной смены — палки зачесались. Конкуренты нам обоим были ни к чему.

Мы брели наугад, скучливо разговаривая о том, что

одни набирают грибов за счет внимательности, каждый листик перевернут, другие — за счет скорости, вокруг каждого куста по три раза обернутся. И о том, что грибы-зонтики почти не отличимы от поганок, и что под ледниками переполняются моренные озера, если прорвет их — все сметет, переломает яростный поток.

— А может, они место знают? — обеспокоился он, потеряв стариков из виду. Но тут же убедил себя и меня: — Глаза, ноги молодые, кому хошь сто очков вперед дадим!

Кое-что нам все-таки досталось, мне, сверх ожидания, разной мелочи литра на два в засолке. А на обратном пути мы натолкнулись у Милозанки на тех самых старика со старухой. Они сидели, отдыхая, дедок зачерпывал воду пригоршней и пил жадно, словно последний раз в жизни. Их корыто было полно крепкими, аппетитными груздями...

Место, известное тебе одному, куда ходишь с гарантией успеха, будто на собственную дачу, — кто не мечтает о нем? Порой это какие-то три-четыре елки, под которыми всегда густо, хотя кругом пусто. Обидно бывает прийти на заветный пятачок и застать его изрытым, разграбленным. Поэтому лучше мест своих никому не выдавать, беречь их. Впрочем, людей, которые не понимают этого, я никогда еще не встречал и не рассчитываю, что мой совет станет для кого-то откровением.

Может быть, я преступаю собственные правила, рассказывая о Милозане. И так уже нынче слышишь в лесу целые хоры возбужденных голосов, земля перепахивается оголтелыми старателями, словно под озимь. Но ничего, разыскать его будет нелегко — предупреждаю заранее. Недаром добираться до него надо на комете! Он у каждого должен быть свой.

Никто не знает, как правильно брать грибы. Одни книжки предлагают бережно срезать их, иначе грибница пострадает, другие разрешают выкручивать вместе с

ножкой, полагая, что от этого грибница омолаживается. А пока наука спорит, их дерут наобум. Истину подсказывает опыт: трубчатые ломай под корешок, у пластинчатых обрезай шляпку. Только были б они, в остальном разберемся!

...Часам к трем я нагрузился, как говорится, «от и до». Сперва, каюсь, не пропускал и рыхлые подберезовики, и красноголовые подосиновики. Взял несколько странных шиповатых грибов почти черного цвета, с игольчатой губкой. Они попались мне впервые в жизни, обтрепанный карманный справочник подсказал их название — ежевики. Потом пришлось все это выбросить. Жалко, хоть плачь, а не унести. Да и в доме давно пошли в дело все стеклянные банки, эмалированные кастрюли. Довольно количества, даешь качество! Лишь наибогороднейшая часть грибного богатства достойна ножа. Маслята, только маслята! На их чистку придется мобилизовать всю семью, их начнешь проклинать, но...

Совет второй (или уже третий?): не жадничайте. Об этом говорить тоже бесполезно, руки опережают разум, даже если рискуешь прослыть последним жлобом. И лето на лето не приходится. Хорошее будешь лет десять вспоминать, упустишь — не вернешь.

Милозанка редела и, казалось, должна была глушить всякий звук. Но вдруг слышишь, как зашуршала мышь в траве, цокнул камень по осыпи,— включается какой-то второй слух...

Обратный автобус наполнился раза в полтора выше предела. Возмущалась теснотой дама пергидрольно-чертовой масти, энергично отвоевываая сантиметры жизненного пространства.

— Я не грибы везу, я на поезд опаздываю! — парировала она добродушный указ на то, что всем не ахти как просторно. И слышалось в ее словах пренебрежение к тем, кто шатается бездельно и затрудняет передвижение нормальных граждан.

«Ненормальными» между тем были почти все. Фериически громоздились корзины, ведра, коробка-горбовики. Вон красуется что-то вроде хлебов, круглых, подрумяненных, пышущих жаром. Подосиновики! Три шляпки накрыли корзину да еще за край вылезли. Неспешный течет разговор, как подолгу грибники живут, употчеванные свежим воздухом, как приметы знают, провидя погоду за три дня вперед, и вообще край свой сердечно уважают.

Снова кончается рабочая неделя. Гляжу на сопку, горбатой старухой прислонившуюся к городу,— не цепляются ли к ней тучи, грозя омрачить субботу. Нет, прозрачен и огромен закат, наавтра обещается славная погода.

Если вы еще не грибник, поднимитесь однажды пораньше, лучше всего после дождичка в четверг, втиснитесь в милозанский автобус. Не пожалеете. Этот совет я даю без оговорок.

УРОКИ

1

Утром соседка занесла нам ключ от своей квартиры, попросила:

— Явится мой Кузьмич с рыбалки — скажите, пусть никуда больше не трогается, я на рынок и мигом обратно.

Наш Винтя в это время просился на улицу. Даже Ленка Скворцова — и то давно уже вышла во двор, чего ж домоседничать!

— Завтрак сейчас поспеет, — возразила мама.

— Изупрямился, неслух. Не все сугробы перемерил? — вступила в разговор соседка. — Никакой вам заботушки. Родители с утра до вечера крутятся туда-сюда, хоть бы раз про то вспомнили...

У сына есть свои обязанности, он хоть и не отлынивает, но иногда забывает о них. А мама не очень любит, когда вмешиваются в воспитание ее ребенка. Словом, под шумок Винтя схватился — и был таков. Мама только и успела сказать ему вдогонку:

— Шапку завяжи, вихорек неумный...

Секунды не прошло, как грохнула дверь вниз в подъезде.

Сыну обязательно надо везде поспеть. Снег идет или ручьи журчат — все годится для обозрения и исследования. У Кузьмича, крупного специалиста по мелкой рыбе,

он знает самые «ловкие» мормышки. Но главная его страсть — машины. Будто примагничивают они его. Поэтому, наверное, и зовут его Винтей, хотя на самом деле он Витя.

Он спешит сегодня, за три квартала услышав рокот бульдозера на стройке. Там из бетонных плит, похожих на вафли, складывают дом. А еще за углом ремонтируют канализацию, колесный трактор с ковшем позади, тужась, вгрызается в мерзлую землю. День зовет и столькое обещает!

— Вжж!.. Впр!..

Это не шмель и не собака. Это Винтя вообразил себя грузовиком, несется по тряской дороге. А через минуту он уже — самолет, покачивает разведенными в стороны руками, ныряя в облаках.

Тридцать три превращения и происшествия с ним в один день — всего лишь норма. Если не случается ничего чрезвычайного, вызывающего к нашим охлаждающим беседам. На переменках в школе так набегаются, что от него весь урок пар валит. Что хорошего — жить вразвалочку! Земля вращается вокруг него, как пущенный враскрутку глобус. И позавтракать некогда...

У подъезда он столкнулся с Ленкой, остановил ее.

— Ленк, а Ленк, ты со мной водишься?

— Вожусь,—ответила она, откусывая булку с маком.

— Водишься?—повторил он, приняв безразличный вид и чертя ногой снег.

Она наконец поняла и протянула ему неоткусанный край булки.

— Я тебе, может быть, клешню краба подарю,—пообещал он с набитым ртом.

— А зачем она мне?—простодушно осведомилась Ленка.—Крабы страшные.

— Они только в океане водятся. Большие. А ходят боком и на удочку не ловятся,—сказал он значительно.

— Я котенка хочу,—вдохнула Ленка.—У нас был,

мы его Мурзой звали. Вчера в гости ушли, а дверь на балкон открытой оставили. Он, наверно, и спрыгнул с балкона. Мне его жа-алко.

Винтя нахмурился.

— В подвале смотрела? Я фонарик у ребят спрошу и поищу.

Он уже на ходу обернулся, крикнул озабоченно:

— Ленк, дядя Кузьмич придет, скажи, что их ключ у нас!

И лишь тогда умчался.

2

Телефон отфыркивается, заливаясь долгими трелями, а потом доносит торопливое Винтино алектанье.

— Слушаю.

В трубке — смех.

— Ты меня не узнаешь, пап? Узнаешь? Отчего у тебя голос... будто тебе сто сорок лет, или ты с кем поругался?

— Где ты был в три часа?— отвечаю я вопросом на вопрос.— Набираю наш номер — никого, как повымерили. Уроки сделал?

— А как же!— бодро отвечает сын.— Если я звонка не слышал, значит, чистописанием всяким увлекся. Или матешей, иксами-игреками. Ты тоже ничего не слышишь, когда работа интересная.

— Вот именно — работа... Нацарапал небось, словно курица лапой. Опять учительница будет жаловаться, красней за тебя перед ней.

— Не, я чисто нацарапал, написал то есть!

— Я же отсюда вижу, что с ошибками и кляксами.

— Есть одна,— помолчав, кивает Винтя на том конце провода. И уточняет:— Клякса. Переписать?

— Да, пожалуй, но... ты это лучше с мамой реши, она домой раньше придет.

— Ладно,— без энтузиазма соглашается Винтя.— А мы сегодня в войну играли. Грибан командиром был. Он меня в разведку посылал! С Женчиком, но я его не взял.

Вот, вот. Ему до четырех часов было велено заниматься уроками и только уроками. Чей приказ важнее, мой или Грибановского? На ласковый голос после этого рассчитывать не стоило. Да еще обманывать пытаются. Развинулся совсем. Доберусь я до их компании!

С Грибановским беда. Надо же было сыну подружиться с ним! Есть приличные, серьезные или умеренно легкомысленные мальчишки, но с ними, оказывается, скучно... После нашего новоселья в этом доме Винтя впервые вышел во двор — и вернулся без шапки. Грибановский забросил ее высоко на дерево, нам пришлось таки потрудиться, сбивая ее оттуда. А злодей стоял поодаль и хихикал.

Этот десятилетний Опенкин-Мухоморский — заводи-ла всего, что творится ребятней во дворе. Если сильно разволновались бабки на скамеечке, значит, он опять отличился. В одной из подвальных клетушек оборудовал штаб, натащил туда разной замечательной дряни. Скажи он, что на головах надо ходить,— любой пойдет, не задумавшись.

Единственный раз на его авторитет было совершено покушение. Неудачное, разумеется. С Грибановским вздумал тягаться Женчик, подумать смешно.

Женчику, несчастному кудрявому толстяку из третьего подъезда, подарили велосипед. Они есть почти у всех, но этот — новый, надо же испытать его и оценить качество: вдруг обнаружатся скрытые дефекты! Грибан по-хозяйски потянулся к велосипеду, однако Женчик вильнул и укатил. Пыхтя, в заносчивом одиночестве носился по асфальту.

Это был непорядок. Того и гляди, завтра кто-нибудь

не поделится яблоком или зажмет три копейки на газировку. Меры следовало принимать немедленно.

На другой день я стал свидетелем такой сцены. Женчик с ревом, напоминающим сирену, пронесся по двору. Прежде чем скрыться в подъезде, он торопливо грозил кому-то кулаком.

Без Грибановского тут, разумеется, не обошлось, рука чувствовалась опытная. А Винтя упорно соблюдал конспирацию. На расспросы отвечал невпопад, заговаривая про вчерашнюю погоду или — что нужно было золотыми буквами вписать в историю — про невыученные уроки. Он уже начинает жить какой-то собственной жизнью, его учат не только родители и школа.

Потом он выдвинул такую версию: Женчику сказали, что без номера автоинспекции на велике кататься нельзя и, мол, о нем уже заявили в милицию, его песенка спета... Но в действительности было, кажется, что-то другое. Правда, Винтя божился, что Женчика никто пальцем не тронул и колеса ему не переломали. А сомневаться в его клятвах у нас не принято.

Во всяком случае, операция принесла желаемые плоды. Возвращаясь с работы, я увидел, что юное население двора выстраивается у третьего подъезда. Кто-то уже разгонялся на велосипеде, спицы которого весело поблескивали, и старался как можно сильнее врезаться в забор.

У Женчика был страдальческий вид. Но он держался, пытаясь не показывать, что ему жалко или что еще там подобное. Даже покрикивал на малышей:

— Соблюдайте живую очередь!

Грибановский сидел на крыльце и ковырял штукатурку, зорко контролируя обстановку. Он выглядел полководцем, выигравшим трудное сражение и пока не знающим, за что взяться еще.

Недавно, всего лишь вчера, была осень.

С тополей облетали жесткие листья. Они срывались не от налетевшего ветра, а сами по себе, от старости. Щелкая по веткам, вертолетиками спускались на землю.

Осень — это желтое и багряное вместо зеленого над головой. И еще голубое, там, где его не было видно сквозь сплошную завесу листвы, а теперь прибавляется не по дням, а по часам. Осень — это когда неба становится больше.

Листья, словно перешептываясь, печально шуршали. Впрочем, почему печально? Они прожили жизнь короткую, но полную тревог и звонкой радости, а значит — счастливую. И конец приходит к ним в головокружительном полете, как у отцветших звезд...

На дороге укладывали асфальт. Разглаженный катками, он становился похожим на лед. Лед не бывает горячим и черным, но асфальт все равно похож на него!

По краю только что на наших глазах возникшего тротуара шагал парень, одетый как-то наоборот: на нем темная рубашка и белые брюки. Казалось, что он шел на руках. Или — он с той стороны планеты, где все ходят вверх ногами?

Девушка в спецовке, поворачивая руль ползающего взад-вперед катка, хохотала, глядя вслед чудаку. И у вон того человека, несущего огромную охапку астр, тоже широкая, во все лицо, улыбка, только это он о своем. Может, у него сын родился?

Жадно дышало все кругом, спеша не упустить напоследок ни капли золотого левитановского сияния. Мы шли, загребая ногами листья, и Винтя считал их:

— Один, два... пятьдесят... Много, наверно миллион.

С арифметикой у него порядок. Прямо хоть поступи сразу в институт. Однако жизнь устраивает нам зачеты и по другим предметам.

Подходим к перекрестку возле гастронома и слышим:

— Не хочу квасу! Хочу мороженого!

— Ах, Бармалей ты, Бармалей, всю меня извел!

Оглядываемся: кто это там бушует? Симпатичный малыш, лет пяти от роду, не напоминающий страшного людоеда из Африки ничем, кроме голоса... Мать дергала его за ворот, а он отбивался и кричал, будто его резали. Его подхватили под мышки, он отчаянно выкручивался:

— Не хочу! Хочу!

Мы этого не поняли. Ну ладно, любит человек мороженое, с кем не бывает. Но квас тоже неплох, мы пьем его, отдуваясь, из тяжелых кружек. Дойдем до следующего угла, я пошарю в карманах и выложу на бочку рубль, потому что мелочь кончилась:

— Две, большую и маленькую, пожалуйста.

— А я раньше был Бармалеем?— заинтересовался Винтя.

— Хуже. Соловьем-разбойником.

— Ну да... А ты?

Я не помнил точно, кем был в свое время. И начал рассказывать, как мне приснилось, что у нас украли телефон. Унесли его, заменив неким гибридом керосиновой лампы и будильника. Набираю номер и все попадаю на неведомый коммутатор, с которого нет выхода в город.

— Сам ты, папа, неведомый,— сразил, положительно сразил меня Винтя.— Невнимательно, значит, набирал. Нужно было не отвлекаться. Когда чего-нибудь очень хочешь, всегда получается.

— Особенно когда хочешь мороженого.

— И совсем оно тут ни при чем. Будто сам не понимаешь. Хитрый!

Я засмеялся и хлопнул его по плечу: зачтено!..

Наступил вечер. И вдруг по всей улице разом, от края до края, зажглись фонари.

— Они проснулись!— задохнувшись, прошептал Винтя, будто впервые увидел скрепленные невидимой нитью бусины огней.

— Они днем спят,— рассуждал он на ходу.— Значит, не все спят ночью? Например, звезды. Почему сны можно видеть только с закрытыми глазами, а звезды — наоборот?

Дома он долго возился за своим столом, наконец подошел ко мне и протянул лист бумаги.

— Вот!

— Что это?

— Звезды. Я хочу, чтобы они и днем были.

Неплохо придумано. Он еще не знал, что есть, есть на земле звезды, которые светят и ночью, и днем, всю жизнь. Неважно, что он без разрешения вырвал страницу из школьной тетради, а нарисованные им звезды похожи на ежей. От его каракулей в мире стало светлее...

4

Я решил показать сыну Москву, он давно просил об этом, твердил: «Мне надо!» С этими его «надо» и «не надо» постоянно идет борьба! Но тут какой может быть спор...

Сборы были недолги. После трех суток железнодорожного пути настал день, когда словно бурливым течением понесло нас по сверкающим утренним улицам столицы.

Раньше я бывал здесь только проездом, делая пересадку с поезда на поезд. Оказалось, от Кремля до Нового Арбата рукой подать и Ленинские горы не за тридевятью землями. В Третьяковской галерее не мог найти Левитана, пока нам не растолковали, что нужно дойти до Шишкина и повернуть направо. Картины Левитана представлялись нам величественными, огромны-

ми. Фактически же их можно было бы повесить в наших комнатах... и на каждой была весна, даже если изображалась осень.

— Я думал, ты уже тысячу раз ходил по Москве, — разочаровался во мне Винтя. — А ты ее вместе со мной узнаешь.

Действительно, неужели не всегда жизнь была такой, какова она теперь? Сейчас-то вон и воспитание стало иным, дистанционным, — по телефону... В Винтином классе собирают металлолом на постройку не теплового и не катера на подводных крыльях, а — космического корабля. Пусть летит на Вегу, и чтоб на боку крупными буквами было написано, из чьего металлолома он сделан. Хотя можно и не писать, главное, пусть летит.

Машин Винтя тут рассмотрелся вдоволь. У нас их тоже немало, но не таких разнообразных марок. На Комсомольской площади нас чуть не сбил оранжевый спортивный «фиат», который сделал бешеный разворот не по правилам и через мгновение исчез, опережая визг своих тормозов.

Но первым делом мы пошли на Красную площадь.

Удивительное это место. Все такое родное, словно родился с Москвой в сердце. Мы здесь не были чужими, хотя приехали издалека.

Кто пришел сюда, тот пришел к Ленину.

Мы нашли хвост очереди к Мавзолею в Александровском саду. Очередь особенная, несуетная, неспешная, люди в ней забыли про мелкие заботы. Мы двигались мимо Вечного огня — и уносили с собой этот огонь, и блеск брусчатой мостовой, и улыбку пожилого казаха, вдруг опустившего руку на Винтину голову.

Впереди нас шла черкешенка в белом, с косами до пояса. Она была похожа на цветущую ветку вишни. За нею, плечом к плечу, двое парней в черных, с отделкой из серебра костюмах. У Мавзолея они сделали шаг в сторону, став на колено, с негромким восклицанием по-

ложили на мрамор цветы, которые несли вслед за девушкой.

Красиво это у них получилось. А мы свои цветы уже оставили у Вечного огня. Винтин дедушка, мамин отец, не вернулся с войны. От него пришло единственное короткое письмо: эшелон остановился в снегах у Москвы. Я никогда не встречался с ним и помнить его не могу, но почему-то отчетливо вижу барачную комнату с покоровившимся полом, железную койку под суконным одеялом, горку крупной соли возле картошки на подоконнике, лютый январь сорок второго... И это живет во мне так, словно я сам уходил из дому в дымный закат, а потом падал на снег, черный от гари и вывороченной земли.

Я ни о чем не спросил сына, когда мы вышли из Мавзолея. Мною самим владела потребность — не в словах, нет,— надо было понять, что изменилось в нас за эти несколько минут, почему мир вдруг раздвинулся, нераздельно сведя вместе прошлое и настоящее на этой земле под молодым небом.

На следующий день площадь снова, точно магнитом, потянула нас к себе. Но...

На мостовой стояли отряды солдат с красными бантами на шапках и винтовками в руках. А перед ними замерли серые броневики с настороженными дулами. И сама брусчатка, показалось нам теперь, сурово отличала свинцом. Шла съемка кино про гражданскую войну.

Высокий человек в кожаной куртке резким замашистым движением показал вперед, качнулся маузер у его бедра. Прозвучала команда. Бронированные машины затарахтели, отряды двинулись. Все было всамделишное, рабочий тащил подпрыгивающий на камнях пулемет, готовясь вступить в бой за Советскую власть. Словно вернулась та бурная геройская пора, чтобы мы смогли увидеть ее въяве. А то ведь для Винти пещерные

времена, хан Батый и белый барон Врангель одинаково далеки...

Отряды остановились. Съемка, видимо, кончалась, строй рассыпался. Красногвардейцы заулыбались, заговорили, вольно опираясь о винтовки.

— Товарищ!— вдруг окликнул меня один из них.— Огонька не найдется?

И так это прозвучало, будто чудом донесло сквозь года хрипловатое, простое — товарищ!

Он закурил, сгорбившись над пламенем спички, вернул коробок и неожиданно подмигнул Винте.

Глаза сына широко раскрылись. Он вздрогнул и, высвобождая свою руку из моей, подался навстречу красногвардейцу. Хотел пойти за ним, пойти, чтобы бить буржуев до победного конца.

5

«Шел двухтысячный год:

— Иванов, ты решил задачу номер 16512?

Петя Иванов задумался.

— Какую? Это где А плюс Б?

Учитель грозно сверкал глазами.

— Значит, А плюс Б... сидели на трубе,—размышлял Петя, устремив взгляд к далеким вершинам науки, то есть к потолку.

— При чем здесь труба? И как может «А» сидеть на ней? Стыдно, Иванов.— В голосе учителя звенел металл.— Шестнадцать тысяч пятьсот двенадцатая двойка!

— Родителей привести?— спросил Петя.

Внутри учителя что-то кракнуло. Это лопнуло его железное терпение. И запахло жженой резиной.

Учитель сгорел на работе.

То был всего лишь робот...»

— Дадим, пожалуй, все пять очков,— сказал мой сосед слева, когда в зале стихли аплодисменты.

— Да, есть такое мнение у общественности,— под- держал сосед справа, приняхиваясь...

Мы сидели в жюри школьных веселых соревнований, сбоку сцены. Обе команды ловко переносили воздушный шарик на ложке, вертели обруч, потом начали сыпать каверзными вопросами. Почему баба-яга не способна ра- ботать стюардессой? Ответь русской народной послови- цей: какие навыки легко приобрести, перевоспитывая двоичника?.. Смеясь над ответами, мы забывали оцени- вать их, и ведущий напоминал нам, что юмор — дело серьезное.

Петю Иванова представляли соперники нашего клас- са, когда понадобилось разыграть микрорпесу «Лодырь в двухтысячном году». Персонаж получился ничего, убедительный, но какой-то слишком современный... А чем ответит 3-й «Б»?

Когда команда вышла на сцену, я сразу почувст- вовал неладное. Уж больно у нашенских артистов был воинственный, взъерошенный вид. Они сказали:

— А мы задание не выполнили. Потому что оно не- правильное. Лодырей в двухтысячном году не будет!

В зале сначала никто не шелохнулся. А какой потом начался шум, и гам, и тарарам, я не смогу рассказать, для этого даже таланта Ираклия Андроникова оказа- лось бы маловато. Может быть, зрители подумали, что «бэшки» просто не справились со сложной темой, и вос- хищались изящной уверткой? Или поверили предска- занию?

— Они правы,— сказал сосед слева. И еще что-то говорил, я не слышал, потому что болельщики не уни- мались.

Да, да, они такие! Начинаются трудности, но будет буря — мы поспорим, и поборемся мы с ней! Они мно- гое видят дальше нас, наши замечательные ребята. Ведь и наше детство, которое было вчера, звало нас в завтра!

За невыполненное задание сосед справа предложил дать десять очков из пяти возможных. Общественность признала это справедливым.

6

Ленка загордилась. Ходит принцессой, поглядывает так, словно видит во всем вокруг одно собственное отражение.

Женчик попробовал поддразнить ее:

— Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты. Воображала первый сорт, уезжает на курорт!

Ленка и бровью не шевельнула. Но когда он бесовственно, в упор обстрелял ее снежками, не выдержала. Догнала, свалила у забора, как поросенка, и надавала хороших. И чуть не разревелась оттого, что поневоле уронила высокородное достоинство.

Мальчишки, понаблюдав это позорное избиение довольно-таки равнодушно, все же огорчились:

— Мало мы тебя воспитывали. От жадности отучили, от трусости, выходит, нет. Попробуй она так с Грибаном или Винтей — ого!

Они прорыли в сугробах канавы, бегают, кричат — у них сражение. Рвутся гранаты, строчат пулеметы, линия фронта стремительно перемещается с края на край двора. Винтю домой не затащишь. Зови ни зови, отчитывай ни отчитывай — как об стенку горох. «Погиб наш юный барабанщик, но песня о нем не умрет!» — идет он в очередную атаку.

Назавтра Винтя играл роль зайца в школьной театральной постановке. Женчику дали роль волка. Винтя должен был сказать: «Какого страшного зверя я вижу!» — и сделать испуганное лицо. Сказать-то он сказал и лицо сделал подходящее, да не выдержал, прыснул со смеху: это не волчище, а пуделы! За ним остальные. Весело было. Постановку сорвали.

А потом на уроке Винтя дернул и распустил новый Ленкин бант, который был слишком аккуратен и надоедно мотался у него перед глазами. Она обернулась, трахнула его книжкой по голове. Обоих выгнали из класса.

Она обрывала листки у фикуса в коридоре, глотала слезы. Он смотрел, смотрел и спросил:

— Тебе помочь?

Ленка отказалась. Фикус пожалела.

Она почему-то не очень удивилась, когда Женчику, вновь посягнувшему на покой Ее Величества, крепко влетело от... Винти.

— А если я нечаянно?— оправдывался он, пораженный заступничеством.

— За нечаянно бьют отчаянно.

— Думаешь одному тебе можно,— завелся было Женчик, но все же благоразумно отступил.

Ленку, однако, не устраивало даже то, что один обидчик— это значительно меньше, чем два или три. Достоинство свое ей хотелось видеть неприкосновенным, словно настоящей королевской дочке.

А я гляжу— ходит сын задумчивый, на ровном месте спотыкается. Считает гривенники, которые дают ему на полднишки, припоминает, что мы дарили маме в день ее рождения. Особенно мы удивили ее однажды французскими духами— но этот беспроегрышный вариант Винтю не устроил. Вдруг приносит из магазина поролонового пса Артемона. Для кого— не говорит.

Он подкараулил «Прекрасную Елену» на лестничной площадке.

— Попробуй тронь,— выставила она острые локти.

Увидев Артемона, неверяще потрогала его кончиками пальцев.

— Это мне?

И когда он кивнул, с чувством шмыгнув носом, потрясенно ойкнула...

Взапуски чирикали воробьи на карнизах. Капель от пригревшего солнца со звоном разбивалась об асфальт, забрызгивая окна первого этажа.

— Ура!— закричал Винтя.— Э-эй!

Его подмывало ввязаться в какой-нибудь, самый жаркий, бой. Но двор был пуст.

Артемон смотрел с хитровой, всепонимающей усмешкой. Если бы у него было сердце, он подарил бы его кому-нибудь.

7

— Без телефона тоже неплохо было жить,— говорит сын вечером, показывая тетрадку с переписанным упражнением и пряча глаза.

— Ты, значит, в разведку ходил... Танки пересчитал, в типах их разобрался, а донесения твоего никто прочитать не смог. С тобой довоюешься.

— Ну уж,— с явным недоверием тянет Винтя, отлично зная, что настоящие разведчики снабжены рацией.

— Вот послушай, какую историю рассказывал мне дед.

Было это в гражданскую войну. Дед тогда учился в школе, которая только называлась, в общем-то, школой, а располагалась в обыкновенной деревенской избе.

Однажды пришли ребяташки на урок, а им говорят: учительница захворала с голодухи. Обрадовались они, что спрашивать их не будут, с криком «ура» выскочили на улицу. Вдруг, видят, скачут двое всадников. Подскакали, один спрыгнул с коня, поводья отдал другому и остановил ребят. То был Василий Иванович Чапаев.

— Хорошо кричите,— говорит,— наверное, учительница за успехи похвалила?

Узнав, в чем дело, нахмурился, позвал всех назад в избу, долго ходил по классу туда и обратно.

— Скажите мне, у кого из вас в семье веселятся

из-за болезни родных? Нет таких? Почему же вы радуетесь, когда у вас глава семьи заболела?

Дети переглядываются, не понимают. Какая глава, какой семьи?

— Вы и есть одна семья,— сказал Василий Иванович.— А учительница вам мать. Она вам помогает с раскрытыми глазами в жизнь идти, добиваться самого лучшего счастья.

— Мы тому радуемся,— оправдываются все,— что домой можно бежать.

Еще больше помрачнел Чапаев.

— Значит, нравится вам бездельниками быть, барчуками? Мы воюем, себя не жалеем, лишь бы вы грамотой владели. Вот у тебя отец где?— спрашивает самого вихрастого.— Казаки зарубили? Как он, должно быть, ученым хотел тебя видеть!..

Совсем притихли ученики.

— Так вот. Должны вы свою промашку немедленно исправить.

Рассадил он детвору, ходит, смотрит.

— Я сам вас проверю, задержусь на часок, хотя на фронт спешу. Выучите отлично!

Когда все кончили заниматься, обрадовался:

— Теперь можете кричать «ура».

Но никому кричать уже не захотелось.

...У Винти сведены брови, взгляд где-то далеко.

— Сам Чапаев... Ты позвони мне завтра, пап, в три часа. Обязательно позвони!

8

А потом пришел Грибановский.

— Мне Винтю,— сказал он, дергая вверх-вниз молнию на куртке, в чем не было, кажется, никакой необходимости. И добавил:— Срочно.

Что там еще они задумали?..

СЕКРЕТ ГОЛУБОГО ОГНЯ

Отряд не понял, отчего пламя костра вдруг стало голубым, и невольно ахнул:

— Командор, смотрите!

— Командор, в чем секрет?

Ребят, я хотел полагать, не могло удовлетворить прозаическое объяснение, они жаждали чуда. И я принял таинственный вид.

— Хотите рецепт? Нужно взять немного лунного света, прибавить щепотку воображения, позвать на помощь ветер, не знающий покоя, и... Такое пламя никогда не погаснет!

Я только что, совсем не ожидая эффекта, бросил в костер старые батарейки от карманного фонарика. Но промолчал об этом....

В логу сонно бормотал ручей, зарождавшийся неподалеку, на морене давно отступившего ледника. Самоцветный купол углей взрывался, когда его ворошили палкой, и с торжествующим гудением посылал в ночь трассирующие очереди искр. Огромными чудовищами вставали вокруг, обступая наш лагерь слабо высвеченные пламенем ели.

Такая картина не могла не понравиться. Жумадил ушел в темноту и вскоре появился с рыхлым пнем, воло-

ча его по траве. Не разгораясь, пень чадил, но искр от него было замечательно много!

Мы впервые выбрались в горы с ночевкой. В тених Сары-Сая еще встречался снег, кое-кто промочил обувь. На воткнутых у костра палках теперь сушились кроссовки и кеды. Со стороны могло показаться, что мы лежим, задрав ноги кверху.

Увидел бы это Николаша, он бы трижды проклял себя за оплошное благословение нашего туристического предприятия. Николаша — классный руководитель моих спутников, он же Николай Никитович, он же Ни-Ни. Последнее имя особенно подходит ему: он гораздо чаще запрещает, чем разрешает. Залысины придают его лбу форму гитары.

Однажды мы с ним разговорились о хилости наших детей.

— Конечно, сейчас, когда в атмосферу выбрасывается столько окиси серы, их здоровье беспокоит нас, — с чувством огорчился он. — Но до чего ж мы занежили их! Один тут недавно высказался: у меня насморк, а родители все равно в школу посылают... Им развиваться надо, а они справки об освобождении от физкультуры достают!

Однако предложенная мной вылазка в горы смутила его неслыханной дерзостью. С этими слабаками?! Главное чудо, признаться, заключается в том, что он все же написал директору школы заявление, узаконив наш поход и приняв половину ответственности на себя. Я даже заужавал его за это.

Горы были рядом, а не далекими и чужими, как прежде. Отогревшиеся девочки резвились, требуя, чтобы чай им подавали прямо в палатку. Но желающих совершить этот подвиг что-то не находилось.

Жумадилу еще по дороге попались поломанные, брошенные кем-то санки, он прихватил их с собой, и ему не терпелось опробовать свою находку на белевшем в

логу старом лавинном выбросе. Весна стояла затяжная, прохладная, и валы сорвавшегося с кручи снега не таяли. Видеть такое в конце мая доводилось не каждому. Тут вообще все иное, небывалое. Затем и шли.

Из шестнадцати записавшихся в поход добровольцев пришли девять. Произошел полезный естественный отбор. Неплохо, всего одна из приготовленных палаток оказалась лишней. Автобус организовали другие родители, так что мне отводилась только роль Дерсу Узалы.

Путь я выбрал попроще, но и он дался нелегко. За первой развилкой ущелья влезли в заросли колючих кустов, полчаса со стоном продирались сквозь них. Сначала я отстал, чтобы подбирать «павших», потом ушел вперед, чтобы не слышать жалоб и упреков. Но сзади начало доноситься залиvistое ржание.

Чего они там веселятся? Оказывается, поскольку положение было безвыходным — домой все равно уже не повернешь, — наш «хвост» мудро стал изображать восторг от происходящего... Ближе в верховьям Сары-Сая пришлось карабкаться на четвереньках. И это сразу окрестили экзаменом на титул архаров (честь именоваться архаровцами некоторые уже заслужили раньше).

Маршрут, впрочем, выбран был не без умысла. Я давно замечал, что на подъем люди ступают след в след. А чуть станет положе — разбрелись, рассеялись, у каждого индивидуальный вкус. Крутые подъемы нужны обязательно. Когда нам трудно, мы едины и дружны. Конечно, сейчас неизбежны трагические охи, а потом окажется, что все было прекрасно, — лучше всего запоминаются именно трудности.

Меня беспокоил Тютков. Он плелся с огромной сумкой и не отдавал никому поклажу.

— Это — Гульнаркина, — задыхаясь, шепотом сказал он. Девчонка, забыв про своего рыцаря, шагала впереди. Она обула новенькие туфли с каблуками и, кажется,

начала стирать ноги. Предупреждал ведь, не послушались!

Жумадил всю дорогу держался возле меня. Интересовался, где и в каких бывал я горах, имею ли спортивные достижения, и несколько раз принимался рассказывать, как ходил однажды к скалам Три Брата. Радовался, что его спрашивали, ощущалась ли там разреженность воздуха, и охотно пояснял, что до четырех тысяч метров дышится нормально, а вот выше восьми начинается зона смерти. Но в СССР ни одного восьмитысячника нет, негде, негде проявить себя.

Альпинисты в его представлении — богатыри с плечами в два обхвата, с такими подбородками, что хоть чайник вешай. А про себя говорил не смущаясь, что он хилый очкарик. Я поощрил его тем, что взял с собой к роднику, нагрузив двумя фляжками, и Жумыч правильно воспринял это как высокую оценку его достоинств. Но загордился и развел в сторонке собственный костерок — со второй спички, — сманил к себе всех мальчишек, вызвав бурные протесты девочек.

Ни-Ни своим классом недоволен. Недружный очень, и никакими педагогическими приемами сплотить его ему не удастся.

Яркие впечатления остались у бедного Николаши от летнего лагеря труда и отдыха в пригородном совхозе. Ему преподносили сюрприз за сюрпризом, один другого чище. В тихий час несколько сорванцов забрались на крышу столовой, улеглись загорать, причем не пуская к себе других. Убежали на речку за три километра и не возвращались до вечера. Жумадил учился танцевать лезгинку на руках — как только шею себе не свернул!

Однажды после отбоя обнаружилось, что исчез Тютков. Искать его не пришлось, он сам влетел в палатку, едва не сбив классного руководителя с ног.

— Г-гулял, — отвечает. Николаша не поверил, увидел, что его карманы набиты какой-то древесной трухой.

— Уж от кого, от кого, а от тебя я этого не ожидал.

— Меня послали,— пискнул было нарушитель режима, однако в углу многозначительно закашляли: «Тютя!»

А ночью у девочек был переполох. За их окнами вдруг засверкали гнилушки, принесенные Тютьковым, десятками волчьих глаз, да еще послышался вой, не совсем натуральный, но все-таки жуткий...

Еще хуже было другое. Мальчишки согласились помочь девочкам в сборе клубники с тем условием, что им эту дополнительную работу запишут и, следовательно, заплатят за нее. Николая Никитовича такая меркантильность сразила наповал.

— С ними нужно вот так,— наставлял он меня перед походом, решительно стуча ребром ладони о ладонь, словно шинкуя капусту.

Но запреты и чрезмерная опека, знаю по собственному родительскому опыту, чаще всего производят обратный эффект. Я им не увлекаюсь. Даже не очень обращаю внимание на рев магнитофона — кто-то не поленился притащить эту бандуру и гоняет кассету за кассетой.

В отряде вышел спор. Одни считали, что Тарас Бульба сражался с ляхами вместе с Богданом Хмельницким, другие сомневались в этом, но доказать не могли. Пришлось мне объяснять разницу между действительными лицами и персонажами книг, вспоминать подзабытых Тараса, Остапа, Андрия. Подвел к выводу, что мужчины должны быть справедливыми и смелыми.

— Усёк?— крепко толкнул Тютькова в спину.— А то боялся за гнилушками идти...

Они многое понимают не хуже меня. Народ самовольный, но свойский. И все же вести им себя со мной, как с ровесником, я не позволяю.

— У тебя есть карандаш?— разлетелся Жумадил.

— Есть.

— Давай быстрее.

— Во-первых: дайте, пожалуйста. Во-вторых... что во-вторых?

Он догадывался, что меня следовало назвать по имени-отчеству, однако не захотел сделать этого.

— Дайте, командор. А бумага? Давай.— И сам поправился:— Дайте, пожалуйста.

На палатке появился рисунок, изображающий запорожца с усами шире плеч...

А потом пришлось дать им беспощадный бой — за чистоту и порядок. Призывая не мусорить в лесу, мы заботимся не о природе, а о себе. Природа все примет, и перемелет, и сотрет наши следы — не за год, так за тысячу лет. Нам же век отпущен коротковатый, и ни к чему проводить его на свалке.

...Ночевка прошла спокойно. Умаялись за день, вот и спали как убитые. Что ни час, звезды сдвигались с места и уходили низом вправо. Неподвижные конусы палаток хорошо подчеркивали это вращение мироздания.

Под утро, еще сквозь сон, я услышал ритмичный стук. Неужели успели включить музыку?

Где-то в елках, невидимый в их густых ветвях, работал дятел, как на барабане отбивая такт какой-то еще не начавшейся мелодии.

Из лога сочился туман, овевая камни — серые, в желтых накрапах лишайников. Морена впитывала сырость, как губка. Мы прикоснулись к ней в одно из летучих мгновений ее неспешно текущей жизни. Сколько здесь было и сколько еще будет ледовых нашествий?..

По этим склонам еще встречались подснежники. Весна совершала свое восхождение. Девочки увлеклись ими, а мальчишки пинали старые, прошлогодние дождевики, рассеивая зеленоватый порошок их спор.

На ближней скале Тютков углядел круглую дыру.

— Пещера? В ней могут лежать доисторические предметы! — взвился он.

Заявку на поиск я отверг, зная, что там отыщутся лишь консервные банки. Доисторические, разумеется. Зато устроил всем прогулку к роднику. Из песка на дне его круглого оконца били фонтанчики, слабые — и неустанные. Стоило мне отвернуться, как песок безжалостно расковыряли. Но фонтанчики, покачиваясь, продолжали выталкиваться наружу, давая исток ручью...

Сары-Сай похож на любые другие ущелья — те же теснины, каскады гремучих водопадов, буреломные завалы. И все же он один такой на целом свете.

Древний и молодой, он хорош в разные времена года, у него тысяча лиц. Его цветущие кусты шиповника гудят, как трансформаторы, их пронизывают тысячи пчел. Гениальной кистью старого мастера — самой природы — написаны полотна альпийских лугов. На старых чабанских стоянках до ноября встречаются шампиньоны. Если повезет, увидишь козлов-теков, осторожно перебегающих поляны или по-цирковому взлетающих на кручи.

Сегодня нам такой удачи не выпало. Зато наблюдали, как небольшая отара форсировала ручей. Овцы останавливались перед водой — и, отчаянно мекая, прыжком влетали в нее, подолгу отряхиваясь потом.

— Шашлыков чего-то захотелось, — вздохнул Жумадил.

— Проголодался! — неприязненно, как-то ревниво взглянула на него Гульнара.

Я показал Жумадилу на развидневшиеся вдали Три Брата. Ему не поверилось, пупыри на изломе хребта выглядели несолидно, невпечатляюще. Стоило о них разговор вести! Он отомстил мне за унижение предмета его гордости. Спрашивает невинно:

— Как правильно написать, сложив пять и семь, — одиннадцать или адиннадцать?

Конечно, я ответил:

— О-диннадцать.

Оказалось, двенадцать.

Санкигодились, их по очереди опробовал каждый. Потом они окончательно развалились. Предлагать еще более острые развлечения, наподобие домбайского бокса, я не стал. Публика была не подготовлена к этой зажигательной игре. В ней на головы участников надевают рюкзаки, нужно вслепую лупить противника пуховой курткой или одеялом. Невдомек разгоряченному бойцу, что удары он получает вовсе не от партнера, а от стоящих кругом и укатывающихся со смеху зрителей. Здесь легко утратить чувство меры и все-таки украсить синяками, а мне нужно всех привести домой в целости и сохранности.

— Расскажите что-нибудь,— требовательно попросили меня. Раз, мол, взялся обслуживать, так шевелись.

Слушали, впрочем, довольно внимательно. О том, как действовать, попав в лавину,— обязательно прикрыть руками дыхательные пути, тогда есть шанс уцелеть. О памирском способе перехода речек вброд, когда несколько человек держат друг друга за плечи. О трех туристских правилах: забыть слово «надо», обращенное к другим, а не к себе, не искать виноватых, и — побольше юмора! То есть не вставай в диктующую позу и не сыпь ценными указаниями, а...

Перебив меня, заревел магнитофон. Я созрел для того, чтобы перекидать кассеты куда подальше. Но это был Высоцкий.

Здесь вам не равнина,
здесь климат иной,
идут лавины
одна за одной...

Есть вещи, о которых лучше всего расскажет песня, ей не надо мешать. Пусть она позовет к непривычным радостям, туда, где вершины стеклянно подернуты льдом, где приближаешься к пределу своих сил — и

отдаляешь его, открывая новое не только в окружающей среде, но и в себе.

На обед сварили вермишелевую кашу на молочной смеси «Малютка». Те, кому поварили предлагали добавку, менялись в лице и просили рецепт этого жуткого клейстера, дабы отныне питаться им и только им.

Девочки помогли мне привести в божеский вид изрядно обсвиняченную поляну. На обратном пути я несколько раз пересчитывал спутников по головам, слева направо и справа налево. Все девятеро были в наличии. Попозировали перед фотоаппаратом, тесно сгрудившись на огромном валуне, принесенном когда-то селевым потоком, и — ходу, ходу. Жумыч правильно угадал, что часа через четыре начнется дождь. Но первые капли застали нас уже на шоссе.

Чему научились они за эти два дня? Приснится ли им чудесный голубой огонь и ветер, не знающий покоя?

Похоже, никаких преобразований не произошло, все оставалось прежним. На тропе растянулись и стонали, девочек от поклажи не освободили, только Гульнара грациозно хромала налегке.

Из автобуса весь отряд вышел на площади Абая, хотя многим удобнее было ехать до конечной остановки...

СТАЛАКТИТОВЫЕ ХОРАЛЫ

Подходы к этой загадочной пещере Беломестнов разведаль в прошлом году. Слыхивал давно, что есть она возле села Тюкавкино. В километре ниже ее течет ручей, который считается целебным. Люди к нему приезжают издадека, дикарями живут в палатках и шалашах, излечивая свои болячки и недуги. Зимними утрами над входом в пещеру клубится сизый пар, наслаивается иней, образуя причудливые фигуры. Это, естественно, служит предметом досужих фантазий. Мол, на зиму в глубочайшем подземелье собирается множество змей, от их дыхания идет странный пар, напнтанный ядом, и кто вдохнет его, упадет замертво. А что там на самом деле?

Беломестнов собственноручно проверил экипировку Петровица, отдав ему лучшее свое снаряжение. Идти вдвоем, конечно, веселее. Если бы вторым был не дражайший племянничек. Предстоящая экспедиция его нисколько не привлекала. Петровиц согласился на нее от нечего делать, ская в деревенской ссылке, где и развлечься-то нечем.

И вот перед ними раскрылась огромная трещина в известняковых горбах, чем-то напоминающая пасть. С непривыки небось задумаешься — останешься ли жив, шагнув в нее, во владения вечной ночи...

— Оробел?— спросил Беломестнов, обернувшись, ощущая знакомый зуд нетерпения.

Он не стал бы настаивать на том, что его подозрение соответствует истине. Пусть бы Петрович опроверг его горячо и начисто или отшутился. Но тот привычно заморщил нос в недовольной гримасе:

— А че там? Лезьте сами...

Этого рослого и лохматого семиклассника прислала Беломестнову его сестра, со слезной просьбой поддержать у себя летом, по возможности поостроже. Родственных отношений с ней он почти не поддерживал. Она работает в торговле, а он у нее никогда ничего не просит. Однако тут, похоже, припекло ее с бедовым отпрыском. Учиться не хочет, шляется неизвестно где, курить стал. В городе у него сложилась шальная, на все способная компания, без присмотра он себе таких приключений найдет!.. Беломестнов согласился легко, не подозревая, какую обузу приобретает.

Впуская постороннего в свою жизнь, всегда приходится что-то ломать. Но большинству своих привычек Беломестнов не изменил. Поставил раскладушку, на которую Петрович брякался так, что пружины взывали. Стал почаще готовить свое фирменное блюдо — жареные пельмени, поскольку магазинные при варке разваливаются. А на сковороде с маслицем лихо подрумяниваются за две минуты, сохраняя надлежащую форму. Петрович привез копченой колбасы. Квартиру он осмотрел внимательно, как бы покупая ее, и оценил, кажется, невысоко.

Жулька, второй постоянный обитатель холостяцкой берлоги Беломестнова, заметно побаивается гостя, жметя по углам. В присутствии дяди Петрович относится к ней спокойно, безразлично, наедине, видать, обижает. Спрашивать бесполезно, правды все равно не добьешься.

Псина увязалась когда-то за Беломестновым на ули-

це, в чрезвычайно замурзанном виде. Он отмыл ее и носит ей столовские косточки, заворачивая их в носовой платок. Когда он ругается с Петровичем, она беспокоится, скулит, вертя мордой и не находя виноватых. Всю дорогу до Тюкавкино она изнывала от жары и с разбегу припадала к встреченным лужам, поднимала ногу возле каждого более-менее приметного камня, по-своему пометая маршрут.

Узкий лаз — спелеологи называют такие шкуродерами — после нескольких зигзагов привел к уютному гроту, тысячу бликов на боках которого рождало пламя свечи. Тут нужна именно свеча, от фонарика ложатся слишком резкие тени и портят впечатление. Тихо. Лишь изредка осыпаются невидимые камушки да звякнет капель — со стен сочится теплая, отдающая сероводородом влага....

Грот не был тупиком, скорее походил на предбанник, — полуобрушенный ход вел куда-то дальше. Едва Беломестнов успел подумать о том, что можно попробовать разобрать завал, как у него сердце похолодело. Сзади появился Петрович. Оставленный наверху для связи и страховки, он, конечно же, пренебрег уговором, ринулся демонстрировать независимость и бесстрашие. Без каски, не обвязанный веревкой, будто вышел прогуляться на бульвар!

— Здрасьте. Где гадюки? Дайте мне, а то помру.

И позвал к выходу, в упор не видя Беломестнова, как бы даже претендуя перехватить бразды правления в свои руки...

Никаких змей в пещере не было и в помине. Развевалась любопытная легенда с ее безосновательными страхами.

Жалеть ли об этом? Очарования и разнообразия в окрестных местах не убавилось. Здесь только гидрография бедновата. Редкие речушки теряются в песках. Сливаясь, они утрачивают прежние названия и образуют

новое. Еще никем не исследовано Тюкавкино, одна из первых казачьих застав на окраине державы. Сотник Тюкавкин в прошлом веке построил у гор крепость с двумя башнями и земляными рвами в семь аршин глубиной, завел первые сады и огороды на привычный ему воронежский манер.

А там — похожие на сказочных животных, скачущие вольным каменным табуном скалы Маргуцека. Две из них словно уперлись лбами, кинувшись навстречу друг дружке, — Маргуцек на здешнем наречии означает «бодаются»... Шерловая гора, на которой встарь добывали полудрагоценный камень, — недаром созвучно ее имя со словом «перл». Отмытые дождем кристаллы придавали сопке вид в прямом смысле слова блистательный. Может, и сейчас таится где-нибудь чудесная жила, терпеливо ждет открывателя... Разуй глаза, Петрович!

Работает Беломестнов инженером в районной «Сельхозтехнике». Его ценят за исполнительность и аккуратность. Похоже, в нем умер великий путешественник, но членом Географического общества он все-таки стал, регулярно заявлял о себе сообщениями про диковины родной стороны, не удостоенной внимания признанных ученых.

Как самую счастливую пору вспоминает он отпуск, проведенный на островке посреди дальнего озера в тайге. Помимо него, здесь обитали молодая лиса, полтора десятка ондатр. Поохотился на славу. Все выстрелы достигли цели, потому что это фоторужье. Вот лиса высунула нос из-за куста и смотрит пристально. Она же, хвост трубой, мчится по берегу. Ондатра с камышинкой в зубах плывет, энергично рассекая воду.

Вот лупоглазый филин, в профиль и анфас. Жутковатое пернатое. Чтобы поймать его на мушку, понадобилось просидеть всю ночь в промозглой дыре, не смея шевельнуться или чихнуть. Птенец крачки в гнезде, большеротый, озирающийся с явным любопытством.

Барсучок в березовом белье. Бабочка со сложенными пестрыми крыльями, лесная беззаботная франтиха...

Умеет он передать предзимнее чувство, рассеянное в октябрьском воздухе, особую отчетливость зрения, охватывающего в эту пору необыкновенно широкое пространство. Снят осинник, да так, что слышишь всхлип дождя в поредевших кронах, шуршание палого листа, сплошь покрывшего землю, бранчливое стрекотание сороки. Хочется подставить руку под снежинки, кружащиеся с важной медлительностью. Зовет за собой неизвестно чей след в сугробах и прыткий мартовский ручеек, выходящий меж камней.

И вдруг — кадр с экскаватором, который выглядит миниатюрным на дне рукотворного ущелья-карьера, вдруг — вереница вагонов на сходящемся у горизонта клине рельсов... Диссонанс? Или утверждение красоты сотворенного человеком наравне с красотой существующего извечно?

Неподалеку от карьера до сих пор проглядывают бывшие примитивные шахты, ныне заброшенные, провалившиеся, залитые водой. Их историю Беломестнов, равно приверженный к преданиям и новизне, восстанавливал по крупицам. Начиная с того памятного лета, когда у местного охотника жарче дров разгорелись черные камни у сурчиной норы.

Открытые разработки похожи на лунный кратер. По уступам чаши с неровными, огрызенными краями проложены рельсовые пути. Длиннорукие экскаваторы, брякая затворами ковшей, врубаются в голубоватую породу и обнажают пласты, вычерпывая из них миллион за миллионом тонн. Чтобы оценить это, нужна точка отсчета, без взгляда назад не обойтись. Нужен фон для полного портрета. К тому же беспамястье никого не красит.

Здесь уголь рассыпается на лепестки, на стружки вроде древесных, и лишь там, где его примяли стальные

гусеницы, блестит вороновым крылом. Стены в забоях потрескивают, шепчут падающие крупинки — о ком, о чем? О морях, что плескались тут в непостижимой давности, о переменившейся судьбе вчерашнего захолустья?..

И золотишко моют в горах. Не так давно старуха Овтеева Асклиада Евлампиевна, бывшая владелица приисков, указала перед смертью на два месторождения, известные только ей. Все ждала «настоящей» власти — но жизни ее на это не хватило.

Петрович грел пузо на солнце, гонял Жульку, ходил купаться в ручье. А потом безапелляционно запросился вон от пещеры: дураков нет живыми под землю торопиться, разгребать завалы в преисподней...

Втайне Беломестнов надеялся не только здесь покопаться вместе с ним, но и навестить знаменитые Кличкинские ямы. Их зола, кости животных и выдолбленные в стенах ниши наводят на предположение, что люди находили в них приют много веков назад. И ошибся в парне. Ничего ему не хочется, на все ему плевать. В серьезном деле на него рассчитывать не приходится. Удовольствуется такой пустой, никчемной жизнью... Ремня б ему, паршивцу, вот где неисчерпаемый резерв педагогики!

Права сестрица, запоздало признавая, что мальчишек должны воспитывать мужчины. Мужа она прогнала давно. Рассказывает, по пьяной лавочке ударил ее за что-то — не простила. Красиво, благородно излагает. А может быть, он сам понял, что заехал не в те ворота. Мужик был неплохой, честный, маленько простоватый, торговых выгод не ценил.

Как там ни верти, пацан остался без отца. Папаша приходил мириться, просился назад: женщина, с которой он сошелся, тоже раскусила его и бросила, обобрав подчистую... Сын только его отчеством и отмечен. Маленький Петрович был золотым. Как и когда увела его

кривая стезя, никто не заметил, и — куда она может завести?

Впервые Беломестнов испытывал такое удручающее бессилие. Ни на одну его попытку контактов Петрович не откликнулся.

— Как ты относишься к дельфинам?

— А почему я должен относиться к ним?

— Потому что ты человек!

Ноль реакции.

Придя в мастерские «Сельхозтехники», — здесь можно было бы и поработать месяцок, если есть интерес к железу, — племянш кисло попинал колеса «Кировцев». Зато проявил активность в клубе, крупно побив двоих ровесников из-за удобного стула. Не в драке беда. Лицо у него было при этом плохое. Бил скучающе, расчетливо, ушел не досмотрев кино, лениво жуя лиственничную смолку.

Застигнув его за упражнениями в швырянии ножа — исколупал всю дверь в квартире, — дядя чуть не упал: зачем? В разведчики, что ли, собирается? Там таких даром не надо! И вообще проявил себя сущим бедствием. Разыгрывал какую-то глупую комедию. Не может же нормальный человек быть настолько бестолковым! Пускал ли он когда-нибудь кораблики по лужам, дуя в паруса, стремился ли к звездам? А если стремился, то куда все это делось?

«У мужчин должны быть свои сыновья», — с грустью подумал Беломестнов о себе и неудавшейся семейной жизни, на память от которой остались только фотографии. Иначе непоправимо выпадает из судьбы что-то существенное, такое, чему нет счета и цены...

В Холгонскую пещеру он увел Петровича почти силой, зная, какое благотворное способна она оказывать влияние, как в ней душа очищается от болячек.

Начинается она с четырехметровой карстовой воронки — наподобие тех, что остаются после взрыва увесис-

той авиабомбы. Покрытый наледью пол плавно нисходит вглубь. Там невиданный, приснившийся и непостижимо явившийся в реальность мир! Жулька тычется в ноги, как бы спеша, подталкивая вперед.

Сталактиты образуют целый лес, в котором никогда не шелестевшие листвою и не слышавшие птичьего пересвиста деревья растут вершинами вниз. Лабиринт зовет дальше, но перегораживается провалом. Звук падения от брошенного камня доносится нескоро.

Где-то нежно выводит мелодию скрипка. Или почудилось, звенит в ушах? Подают голос неведомые певцы на неведомом торжественном языке, потерянно взывая к свету, ко всесогревающему солнцу. Это — своеобразная эолова арфа. Потоки воздуха обвевают сталактитовые струны, видимо из второго, вызывающего сквозняки входа в подземный концертный зал.

Сталактитовые хоралы... Отчего-то приходят в голову мысли о бессмертности, неистребимости бытия...

Петрович, упираясь коленом в один из немногих в пещере сталагмитов, тянул к себе его верхушку. Беломестнов взбешённо перехватил его руку, но не успел остановить кошунство: сталагмит хрустнул. Петрович вырвался и презрительно протянул обломок:

— Нате возьмите, че вы...

Жулька тотчас же облаяла его.

Подтаявшая наледь стала скользкой, как лягушачья кожа. Насекая ее топориком, Беломестнов молча довел Петровича на веревке до уреза пещеры и отвернулся от него.

Простить он не смог. На следующий же день проводил Петровича к автовокзалу, испытывая и облегчение, и досаду, непривычное ощущение не поддающейся разгадке тайны.

Помахивая сумкой, племянник шел поодаль, одинокий и какой-то сиротливый, совсем не празднующий освобождение.

Сейчас Петрович начал казаться Беломестнову не таким уж рослым: пацан пацаном. Тощеватый, по возрасту неуступчивый, в меру, как это у них принято, лохматый. Были, конечно же, были у него добрые мечты — а они всегда оставляют, не могут не оставить след! Почему же его судьба неразглядима, как на передержанном негативе? Чья рука протянется к нему, когда он вдруг поскользнется на своем безалаберном пути?

А путь пред ним лежит нелегкий, дальний...

Автобус уже тронулся. Беломестнов кинулся наперерез, его толкнуло обрешеткой радиатора. Он застучал кулаками по жестяной стенке и, придерживая открывшуюся дверь, с отчаянием и решимостью позвал Петровича.

Тот медленно поднялся и шагнул к выходу.

МАЛАЯ АРЕНА

Кризис наступает у Паничкина быстро, в конце второго — начале третьего круга. Тяжелеют, неохотно отрываются от дорожки ноги, сдавливает грудь. Но он терпеливо ждет. Знает, что вскоре им обязательно овладеет какое-то оупение, блаженное равнодушие к окружающей обстановке и к самому себе. Какая-то невесомость, похожая на космическую, сменяющая неизбежные при выходе на орбиту перегрузки.

Он будет механически заведенно вращаться вокруг поля, выталкивая себя навстречу ветерку, очистительно продувающему вечерний город. Потом начнет накапливаться усталость. Но пока что еще вполне и даже очень можно «достать» вон того долговязого юнца, который мелькает впереди, с демонстративной небрежностью засунув руки в карманы яркой ветровки, но со стариковской расчетливостью проходя повороты по экономичной внутренней кривой.

Дорожку в прошлом году покрыли «арманом», сквозят швы между его неровно уложенными прорезиненными листами. Понятно, не для чемпионов сделано. Чемпионы пользуются услугами главной арены, ухоженной до блеска, а здесь и так сойдет. Здесь ни трибун, ни раздевалок, ни душа, ни массажиста с психоло-

гом. И полагаться можно только на себя, на собственный характер.

Юнец оглянулся, прибавил, зачастил, высвободил руки. Самолюбивый, не желает сдаваться, думает, все ему нипочем. А расстояние между ними продолжает сокращаться...

Паничкин долго держался вплотную за нечаянным соперником, дыша ему в спину и, похоже, надоев тому до крайности. И удовлетворенно, отмщенно вернулся к прежнему размеренному ритму. А когда, выполнив пятикилометровую дневную норму, перешел на шаг, это стало знакомо ощущаться почти как неподвижность.

Вот бы сказать юнцу, что Паничкину под шестьдесят! Не поверит, не захочет поверить. А взять его на марафон — выдохнется, погнавшись за кем-нибудь из лидеров, видал Паничкин таких шустряков. Ноги у них длинные, дыхание короткое. Самолюбие — штука неплохая, но надо распорядиться им с толком. Иначе никакой атлетизм не поможет.

Бег, бег, бег... Как изменяет он жизнь, как великодушно позволяет наступить второй молодости!

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Случились у Паничкина крупные неприятности на работе. Из машинистов-инструкторов его поперли, можно сказать с треском. За необеспечение безопасности движения поездов. Проще, за то, что один из его подчиненных гавриков зевнул и врезался во вставший не перегоне состав. Для ликвидации последствий понадобилось вызывать восстановительный отряд. А непосредственно перед тем они вместе отмечали день рождения, Паничкину стукнуло полста...

На круглой дате все и переломилось. Если бы не начал бегать, то вообще ушел бы с транспорта, не вынес позора. Или запил бы.

Дистанции он наращивал постепенно, по науке. Уматывался страшно. Недаром говорят: хочешь узнать, как

будешь выглядеть через 20 лет, посмотри на себя в зеркало сразу после марафонского забега. Сам не понимал свой терпеливости и настойчивости, клял себя за неожиданную блажь и все-таки держался, обреченно накручивал виток за витком. Аккуратно вел и ведет в тетради учет километража, ожидая, когда можно будет сказать, что проделал расстояние, равное окружности земли по экватору.

Двенадцатиминутный тест по Куперу у него намного выше отличного, постоянная физическая готовность к любым испытаниям. Закон природы таков, что если тебе за пятьдесят и ты, проснувшись, чувствуешь вдруг, что у тебя нигде не болит,— значит, ты умер. Но природа распорядилась мудро, позволяя опрокидывать ее же собственные установления!

Должно быть, внутренне он давно был готов к переменам. Это было, было в нем, жило и назревало подспудно. Чего под кожей нет, того к коже не пришьешь. Кто не в состоянии меняться, тот уже покойник, и похороны в этом случае бывают лишь простой формальностью. Он всегда, исконно был гигантом, по досадной ошибке заключенным в оболочку пигмея. Рост 170 по утрам и 168 по вечерам, вес 62—все данные ниже средних... Паничкин чутко подмечает всяческие несоответствия. Недавно в автобусе стоял позади военного, по виду не менее чем полковника. Приподнявшись на цыпочки, глянул на его погоны — и утешенно рассмеялся почти вслух: прапорщик!

После того как разлетелись дети — стирывал он их пеленки, нянчился с чадами наравне с женой,— забот у него поубавилось. На образовавшемся досуге как-то особенно жестоко ощутилась собственная шуплость, хилость. И не болел, и здоров не был. Никогда не погордиться внушительными плечами, могучеством, богатством, стороной обходить местную шпану, быть в самом себе, как в тюрьме... Надоело! Надеть другое лицо,

поменять виноватую улыбочку на нечто более пристойное. И — вести бой, потому что нет другого выхода!

Горестная привычность к прежнему себе изживается трудновато. Он и сейчас на фотоснимках с марафонов вечно на втором плане, выглядывает из-за чьей-нибудь спины. Между тем его сегодняшнее существование отличается от вчерашнего как небо от земли. За сорок лет работы даже медалешки не удостоился. А тут, как в розовом сне, посыпались награда за наградой: кубки, дипломы, грамоты. В газетах про него пишут, не без художественных преувеличений. Себя, мол, преодолел, возраст ему нипочем, старость его дома не застанет. Двукратный олимпийский чемпион Борзов ему руку жал, космонавт Попович приз вручал!

А приличных кроссовок он себе купить так и не удосужился. Пользуется кедами, вкладывая в них стелечки из поролона. Кроссовки молодежь для танцев расхватывает.

И до сих пор не разобрался, что же означает надпись «Наследнику Фидиппида» на памятной медали московского спорткомитета. Спросить сразу, когда вручали, постеснялся, да так и остался в недоумении. Мог иметься в виду легендарный древний грек, на последнем издыхании принесший из местечка Марафон в Афины весть о победе над персами. Но тот, согласно энциклопедии, носил имя Феденикс. Похоже, Фидиппид тоже родом из Эллады. Есть законное основание со вкусом порассуждать об эллинских заповедях и обычаях, подражая, что тебе они близки и понятны...

Но в общем он остался прежним. Не любит фантастику, после прочтения ее снова кажется себе маленьким, жалким и не хочет соглашаться с этим несправедливым ощущением. Как мальчик обожает цитаты, афоризмы и максимы. Пользуется такси только при крайней необходимости, а ради шику — никогда. Копейку бережет, но в компаниях не жмотится (фанатиком бега он не стал и

не отказывает себе в простых житейских радостях). Пуще всего терпеть не может, когда через него передают мелочь на билеты в автобусе, и если недоля притиснет его к кассе, ужасно страдает, видя в обращенных к нему просьбах какое-то неуважение.

— Возрасту своему не приличишь, — поначалу осудила его жена, сбита с толку пробудившейся в нем спортивностью. Она погрузнела давно, уж больно аппетит к старости в развитие пошел. Он отругивался беззаботно, влезая в тренировочный костюм и слыша вслед обычное бульканье:

— Все вы такие, вам лишь бы из дому!

Она еще и не такое шумнет, его верная Пенелопа. За ее языком не угнаться босиком. Если прихватит радикулит, дай ей поплевать на спину и растереть — лучше змеиного яда поможет.

Он успокоился вполне, услышав однажды обрывок ее разговора с соседкой. «Разве ж лучше, если б он в гастронOME бегал?» Все понимает старая, а чего не поняла, с тем смирилась. Вишь, даже одобряет. Появилась у него собственная вера, пусть чудноватая, и слава богу. Его бог — бег. Поэтому — слава бегу!

Уже давно Паничкин не воспринимает бег с точки зрения пользы здоровью. Здоровье — это еще не все, хотя без него все — ничто. Есть в беге нечто свыше всяких польз. Он дает реальную иллюзию свободы. Спеленали, одомашнили мужиков, а теперь возмущаются, что они, представьте, вспоминают о коренном своем предназначении: быть сильными!

Настоящий мужчина должен испытывать и преодолевать трудности, иметь дубленую шкуру и каменные кулаки, говорить громко, ходить размашисто. Бегать должен как олени! Хорошо, если он обладает улыбкой ребенка, но сердце льва ему тоже не помешает.

К тому же бег — очень удобный вид спорта. Час, полтора — и ты снова в кругу домочадцев. За исключе-

нием выездов на соревнования, разумеется. Какой это праздник — соревнования! Гарк мегафонов, подбадривающие вопли зрителей на трассе, проглатываемый на ходу теплый кофе, обмен друзей стартовыми номерами на память...

Кстати, на здоровье бег влияет отрицательно. Он вызывает склероз. Занявшиеся им напрочь забывают о простудах.

Иногда Паничкину кажется, что он только начинает жить. Лет набежало столько, что впору начать отсчитывать их назад, но чувствуешь себя так, что хоть снова в комсомол вступай! Поймал свою потерянную молодость, как такси на глухой полночной улице, и умчался, сам еще не зная куда. Нет, рановато вычитать годы из жизни. Жаль только — чертовски много времени потребовалось для того, чтобы стать наконец молодым.

Он не способен всецело войти в звонкий образ двадцатилетних. Спортом в этом возрасте не занимался, не до того было. Не любил смотреть на стариков, старательно делающих по утрам зарядку в сквере. Уж слишком бросалась в глаза их немощь, они вызывали сострадание. Когда их попытки оспаривать неизбежность выставляются напоказ, это доходит до неприличия. И лишь теперь, став их ровесником, начал понимать их трезвое сумасбродство, искренний самообман, веселое отчаяние. Особенно — превзошедших привычные мерки, показывающих спину тем, кому до седин далеко.

В достославные паровозные времена Паничкин тоже, скрутив себя в кулак, с горячностью опровергал бы «предельщиков» — машинистов старой школы, убежденных, что техника уже отдает все, на что она рассчитана, насиловать ее непозволительно. И ставил бы рекорды скорости и веса поездов, отчаянно рвя большой клапан. Только ни за реверс, ни за контроллер он уже никогда не встанет. В согласии с наукой, между прочим.

Недавно в их депо приезжали из московского НИИ

специалисты по профотбору. Исследовали, нет ли у машинистов и их помощников органических предпосылок к срывам, к бракоделству. Для надежности зашли к проблеме с тыла — начали прощупывать тех, кто уже попал на особый учет.

Паничкин напросился к ним сам, хотя мог не проверяться, второй год работая в заготовительном цехе. Его посадили перед прибором, надели ему на пальцы датчики. В расположенных по кругу прорезях панели последовательно вспыхивал свет. Как только сигнал вдруг делал перескок в обратном направлении против обычного, нужно было нажать кнопку. Вроде как в рейсе среагировать, когда неожиданно и грозно загорается красный вслед за зеленым или увидишь посторонний предмет на рельсах.

Заключение ошеломило его: для вождения поездов непригоден. Как же так, ведь ни одной ошибки в опыте не сделал и вообще столько лет проездил без ЧП? Вранье!

Острые пики на осциллограмме выдали его с головой. Оказалось, он не переносит длительную монотонию, благополучие дается ему слишком дорого, ценой огромного, истощающего напряжения. Он обязательно должен был когда-нибудь запаниковать и сорваться, его счастье, что ни разу не попадал в экстраординарную ситуацию.

После приговора он даже тренировку пропустил. Расслабленно пошел домой.

Тот, прежний в Паничкине, логично считал, что нужно переживать, отчаиваться, но ничего такого фактически он не испытывал. Никакого тебе крушения — напротив, даже облегчение некоторое на душе.

Действительно, чего уж там, теперь можно признать: всегда Паничкин ездил с затаенным страхом, с неверием в себя, тыщу раз умирал, с трудом воскресая. Прожить свое как все для него не было стыдно. Всю жизнь пропритворялся нормальным, не хуже других

человеком, не поддался слабости,— это ли не подвиг?! Приросшая к нему маска помогла ему, заставила его поднять как флаг прекрасный лозунг «быть, а не казаться!» А все же лучше держаться от греха подальше, тем более что льготные основания для пенсии давно заслужил.

Он хихикнул над теми, кто следом за ним входит в кабинет к ученым и кого тоже ждали там неожиданности.

А Фидиппид — узнал из случайной физкультурной брошюры — был вот кем. Он в полном боевом снаряжении добежал от Афин до Спарты, чтобы просить о помощи в войне с персидским царем Дарием. И в тот же день вернулся обратно, проделав 250 верст...

Для тренировок Паничкин обычно выбирает уголки поукромнее. Есть на городском стадионе второе, запасное, поле. Вход на него свободный, да и дыр в сетчатой ограде полно. Пацаны приходят сюда поиграть в футбол, их мяч иногда застревает в густых ветвях карагачей, окружающих пыльную площадку.

Эта малая арена — верное пристанище тех, чей спортивный «поезд» уже ушел, а жить еще хочется. Она любого поддержит. Бегают вечерами две тетки, оставляя у бровки девочку в пальто, уныло ждущую их. Прогуливаются пожилые пары. Занимаются две группы здоровья (кого в них только нет, от девушек до дедушек!).

Паничкин ото всех держится на отлете. У него нет достойного партнера по сверхнагрузкам, маловато скороходов на свете. Слесарь Сережа Махмудов из его деповского цеха бегают на работу и с работы, игнорируя автобус,— а живет он в двух десятках верст от города и, получается, каждый день преодолевает почти полную марафонскую дистанцию. Но и он уступает Паничкину. В традиционном пробеге по Дороге жизни через

Ладожское озеро они участвовали вместе. Сережа отстал на четырнадцать минут.

Летом Паничкин пробовал обегать город по периметру, в субботу по часовой стрелке, в воскресенье — в обратном направлении. По садам и буеракам, мимо свалки, мимо антенного поля воинской части, пересекая ручьи где по мостикам, где прямо по камням. Трасса, ничего не скажешь, оригинальная, но для зимы не годится, в сугробах вязнешь. Пришлось вернуться на родную малую арену, она-то приветит в любой сезон.

Сегодня встал морозец градусов под десять. Невелика стужа, и все же Паничкин обмер, увидев голые ноги и спины. На разминку вышли «моржи». Мужики в плавках, женщины в купальниках, босые.

Выглядело это дико и даже страшновато. Экстремисты какие-то.

«А сам-то, сам», — удрученно посмеялся над собой Паничкин, не понимая, отчего накатывает на него противная липучая тревога. Бег тоже совсем недавно воспринимался как чудачество, сограждане пальцами показывали. Это теперь уже многие стараются не отставать от века. А тогда Паничкин, попирая условности, под прицельными взглядами соседей и прохожих рвался вперед, как бы грудью на амбразуру, прокладывая путь последующим поколениям (которые наверняка не оценят эту самоотверженность).

Однако малая арена и «моржей» принимает безоглядно, со свойственной ей простотой... Мудра она или глупа, радуйся ей или злись на нее — она такова. Она возвышает не пьедесталами, ее герои безымянны. Она принадлежит началам, всему дает шанс.

Эти нахалы с голыми коленками проявляют скорее дерзость, чем отвагу, готовы обойти Паничкина на своем новом, более крутом витке, украсть у него драгоценную, в муках добытую радость превосходства. Опять

нужно за кем-то гнаться, терзать себя, иначе отстанешь, останешься близ тех, кому недавно бросал вызов. А как иначе? Признать, что исчерпал себя? Уж он-то, как никто другой, способен на решительные поступки! Неужели ему было отпущено характера только на одну попытку?

Как в прорубь ныряя, Паничкин снял кеды, связал их шнурками и перекинул через плечо. Пятки заныли, занемели от ледяного огня. «Моржи», моментально признав его своим, призывно замахали ему руками. Паничкин замедлил было шаг — и все-таки пробежал мимо них.

СОДЕРЖАНИЕ

На главном ходу	3
Своя норма	23
Командировка на час	37
Дни весны	46
Путь к вершинам	62
Король-Тау	78
Горный бал	88
Советы грибникам	98
Уроки	106
Секрет голубого огня	122
Сталактитовые хоралы	131
Малая арена	140

Исаков Геннадий

И 85 Путь к вершинам: Рассказы.— Алма-Ата: Жалын, 1988.— 152 с.

Рассказы, вошедшие в сборник, неоднородны по своей тематике. Здесь и тема наставничества («На главном ходу», «Своя норма»), и рассказы об альпинистах и природе («Путь к вершинам», «Король-Тау», «Советы грибникам»). Проблемам профессионального роста, нравственного становления юного поколения посвящены рассказы «Командировка на час» и «Дни весны».

Герои рассказов Г. Исакова — молодые люди, жизнерадостные, полные сил и энергии, обуреваемые романтикой путешествий, они стремятся утвердить себя в жизни, ищут свой «путь к вершинам».

И 4803010102—96 124—88
408(05)88

84P7—44

ISBN 5—610—00124—2

Для старшего школьного возраста

Геннадий Петрович Исаков

ПУТЬ К ВЕРШИНАМ

Рассказы

Редактор *У. Молдахметов*
Художественный редактор *С. Макаренко*
Художник *Л. Тегенко*
Технический редактор *Н. Кушнарева*
Корректор *О. Петрова*

ИБ № 3382

Сдано в набор 22.10.87. Подписано в печать 31.03.89.
УГ № 28013. Формат 70×108¹/₂. Бумага № 1. Гарнитура
литературная. Печать высокая. Усл. кр.-отт. 6,77. Усл.
п. л. 6,65. Уч.-изд. л. 6,38. Тираж 50 000 экз. Заказ 1625.
Цена 30 коп.

Издательство «Жалын» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

30 к.

